

ЛИНГВИСТИКА

УДК 811.161.282

ПОВЕСТВОВАНИЕ В ДИАЛЕКТНОМ ДИСКУРСЕ

В.Е. Гольдин

Институт филологии и журналистики Саратовского государственного университета,
кафедра теории, истории языка и прикладной лингвистики
E-mail: goldinve@andex.ru

Выделяются событийность, образность, антропоцентричность, эгоцентричность и речевая типологизация как специфические черты диалектного повествования, связующей основой которого выступают важнейшие категории сознания – событие и человек в событии.

Ключевые слова: диалектный дискурс, событийность, образность, антропоцентричность, речевая типологизация.

Narrative in Dialect Discourse

V.E. Goldin

Eventfulness, presence of imagery, anthropocentrism, egocentrism and speech typologization are shown to be specific features of dialectal narrative, based on the most important categories of consciousness – event and man in event.

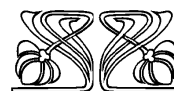
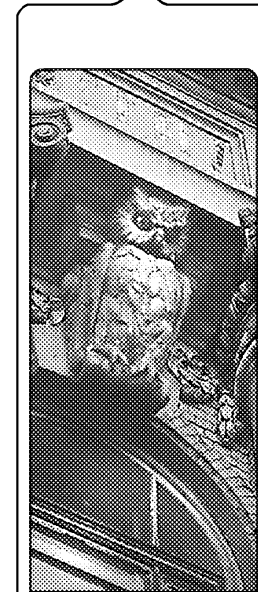
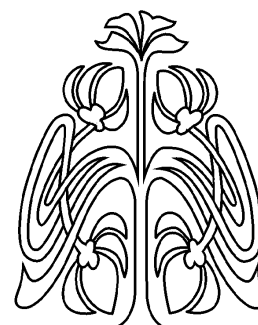
Key words: dialect discourse, eventfulness, imagery, anthropocentrism, speech typology.

Диалектная коммуникация протекает в форме тех же речевых регистров, что и коммуникация на литературном языке. В речи диалектоносителей представлены текстовые формы репродуктивного, информативного, генеритивного, волонтеритивного и реактивного характера, соответствующие коммуникативным интенциям, выявляемым и в литературной речи¹. Вместе с тем дискурсивные свойства диалектной речи, особенно в сфере повествования, обладают несомненным своеобразием, исследование которого является одной из главных задач коммуникативной диалектологии².

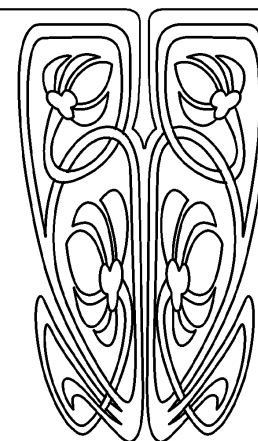
Установлено, в частности, что диалектному повествованию свойствен ряд особенностей, которые, с одной стороны, могут рассматриваться как различные проявления принципа совмещения в речи ситуации-темы с ситуацией текущего общения, а с другой стороны, могут быть интерпретированы как действие принципа иконичности повествования; при этом полного совпадения результатов действия указанных принципов не обнаруживается, и, следовательно, данные принципы не могут быть отождествлены³. Вполне возможно, что за ними стоит какой-то более общий фактор, определяющий своеобразие диалектного повествования, или группа таких тесно связанных между собой факторов, установить которые еще только предстоит.

Проведем небольшой текстовый эксперимент: сравним типичный пример устного повествования на диалекте с тем, как соответствующее содержание можно было бы передать в форме письменной литературно-книжной речи. Пожилая носительница говора М.П. Пруская (с. Мегра Вытегорского р-на Вологодской обл., запись 1976 г.) рассказывает, как раньше отбеливали домотканое полотно:

«Раньше/ Сашенька/ ведь ткали/ дома/ дома ткали// сколько было полотна это/ точива-то допустим по-досюлешнему/ точива// вот такие были трубы точива// вот это в бук ложим/ подержим на слище <...> принесём со слища мы со снега/ это называется слище у нас/ на снег весной мы расстилаем длинно-длинно-длинно/ не один ряд/ столько точив бывало// Вот принесёшь// «Ой сегодня мама побучить наверно надо»//



НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ





Вот такой... под фирму ушата/ Саша/ под фирму ушата/ токо он высокий/ он высокий/ ушаты ведь низенькие/ а этот высокий/ бук/ называется бук/ «Без своего бука говорит/ всегда мука говорят»// да-да/ ну вот// ну/ вот топится печка/ наложим камня туда/ в печку/ на дрова// эти камень нагорят// в этом буку уж/ помещенье... этом/ ну в чану хоть/ в буку/ по-нашему бук/ ложим туда кипятком/ выливаем/ на точиво...»

Если отвлечься от метаязыковых элементов данного текста, вызванных тем, что рассказчица осознает неполное совпадение своего языкового кода с кодом адресата (*точива-то допустим по-досюлешнему; это называется слице у нас и др.*), то в письменной литературно-книжной форме основное содержание рассматриваемого рассказа можно было бы представить следующим текстовым фрагментом информативной направленности:

«Раньше ткали дома. За зиму набиралось много домотканого полотна, точива, скатанного в рулоны. Весной его расстилали длинными рядами по снегу на солнце. Потом полотно приносили домой и кипятили в специальных высоких бочках, буках. Полотно закладывали в бук, заливали кипятком, бросали в воду предварительно раскаленные в печи камни...»

Приведенный выше рассказ М.П. Прусской отличается от своего литературно-книжного counterparts не только известными и весьма яркими признаками разговорности (индивидуальная адресация, непринужденность коммуникации, неподготовленность устного рассказа, нарушения в передаче последовательности описываемых действий, самоперебивы, самокоррекция, разного рода повторы и т.д.), но и одновременно использованием основных регистров повествования: информативного, репродуктивного и генеритивного. Общая направленность рассказа воспринимается нами как информативная, но средства информативного регистра переплетены в нем с формами репродуктивного (изобразительного) и генеритивного регистров и соединены в характерное для диалектного повествования единое целое. Рассказчица не только и н ф о р м и р у е т, т.е. передает то, что ей известно, но и в о с п р о з в о д и т в своей речи те ситуации, о которых говорит, представляет их существующими «здесь» и «сейчас», в момент реально протекающего общения. Ср.: *Вот принесёшь// «Ой сегодня мама побучить наверно надо»* или *ну/ вот топится печка...* Из типичных средств репродуктивного (изобразительного) регистра отметим прямую речь без оформления ее вводящей речью, глагольные формы актуального настоящего времени, изобразительный повтор (*расстилаем длинно-длинно-длинно*), широкое использование указательной частицы «вот», соотносящей повествование не с предшествующими или последующими частями текста, а с «наблюдаемой» ситуацией: *вот такие были трубы;*

вот принесёшь; вот такой... под фирму ушата; вот топится печка... Действие принципов совмещения ситуации-темы с ситуацией текущего общения и принципа иконичности (изобразительности) речи обнаруживается в данном примере даже на небольшой протяженности диалектного повествования. Генеритивному регистру соответствует в нем выражение обобщенного знания: *Без своего бука всегда мука.*

Хорошо известно и давно отмечается исследователями, что диалект традиционно не использует формы косвенной речи, а прямая речь произносится на диалекте особым образом: говорящий стремится воспроизвести интонацию, силу (иногда и тембр) передаваемой речи. Он в прямом смысле слова «исполняет» чужую речь в своем повествовании, перевоплощаясь в автора высказывания и превращая сказанное раньше в то, что говорится «здесь» и «сейчас». В нашем примере это явление представлено во фразе *«Ой сегодня мама побучить наверно надо»*. Её появление в рассказе абсолютно не случайно, оно соответствует традициям диалектного повествования: для носителя традиционной культуры сельской коммуникации существует теснейшая связь между «ситуациями-событиями» и тем, что обычно говорится или может быть сказано в соответствующих случаях, поэтому рассказ о той или иной стандартной ситуации представляется рассказчику неполным без сопровождения его типичными для раскрываемой ситуации высказываниями, а совмещение ситуации-темы с ситуацией текущего общения делает такие речевые иллюстрации естественными и необходимыми.

Типичные высказывания, характерные для различных ситуаций-событий, часто повторяясь в них и передаваясь из уст в уста, приобретают всё более обобщенный характер и в результате становятся пословицами и поговорками, которыми не случайно богата именно народная речь. Пример такого высказывания – использованная М.П. Прусской пословица *«Без своего бука всегда мука»*.

Показательно, что, приводя эту пословицу, рассказчица оформляет ее как цитируемую чужую речь. Элементы *говорит, говорят* в высказывании *Без своего бука говорит/ всегда мука говорят* играют при этом роль, близкую роли разговорных частиц *мол, де, дескать*, хотя и не тождественную ей. Функция “говорит” в составе вводимой чужой речи (в диалекте такое вводимое «говорит» обычно представлено рядом редуцированных форм – от «грит», «гыт» до «г» даже при цитировании собственного высказывания) хорошо, на наш взгляд, определена в монографии Н.В. Максимовой. Рассмотрев на материале русского литературно-художественного дискурса роль конструктивно-коммуникативного элемента “говорит” во вводимой речи, исследователь пришла к выводу о том, что этот элемент необходимо ограничивать от “говорит” во вводящей речи:



«Говорит» – вводящее – знак первого события (события-темы. – В.Г.), «говорит»-вводимое принадлежит самому «событию рассказывания», т.е. ситуации текущего общения. «Говорю» – прием, – утверждает исследователь, – безусловно, является маркером самого «события рассказывания». Это его интонация, его жест, его мимика – со всеми отсылками к смыслам устно-разговорной ситуации. Это своего рода перпендикуляр нарративу, разрывающий ткань повествования постоянными напоминаниями: «это я», «я здесь». В итоге создается феномен «мерцания» – прошлого / настоящего; вневременного / сиюминутного; героя / героя-рассказчика / автора⁴, – другими словами, наблюдается как раз то, что типично для диалектного повествования – совмещение ситуации темы с ситуацией текущего общения.

Необходимость включать в рассказ типовые высказывания участников передаваемых ситуаций-событий становится еще понятнее, если учесть специфический характер тематической организации повествования на диалекте. Литературно-книжная речь строится таким образом, что позволяет общающимся сосредоточиваться на любых вербально обозначенных компонентах мира, делать их предметом рефлексии, разворачивать в качестве тем. Отдельными детально разрабатываемыми темами (в различных типах литературно-книжного дискурса) могут становиться и человек с его судьбой и внутренним миром, и животные или растения, и неживая природа, и различные ментальные образования и т.д. Например, пропозиция «Раньше ткали дома» в литературно-книжном повествовании допускает возможность выделения (рефлексии) и подробной конкретизации временного компонента (когда именно «раньше»), локального (где именно «дома»), деятельностного (в чем заключалась деятельность, обозначенная глаголом «ткасть», каковы ее обязательные и факультативные составляющие). С необходимостью обеспечивать специальную конкретизацию отдельных сторон содержания речи связана принципиальная возможность отвлекаться в повествовании от всех других его сторон, в том числе и от субъектов представляемой в речи ситуации, или придавать этим сторонам неодинаковый вес. Так, в предложенном выше письменном литературно-книжном фрагменте рассказа об отбеливании полотна субъекты действий отодвинуты на второй план и имеют неопределенно-личный характер, на первом плане – сама процедура отбеливания, именно она выступает темой повествования. Конечно, диалектная речь также предоставляет ее носителю возможность выделить (назвать) и конкретизировать любой из квантов содержания; более того, носителю литературного языка повествование на диалекте нередко представляется даже неоправданно подробным, перегруженным деталями⁵. Однако при этом диалектное повествование почти никогда не отвлекает

ся от субъектов ситуации-события, не элиминирует их, не отодвигает на второй план. Оно тяготеет к «фабульности», событийности⁶, а в центре событий обязательно стоят люди, и в диалектном повествовании действия, состояния, оценки участников ситуаций и их высказывания не уходят на периферию, а, напротив, образуют тематический центр, предмет конкретизации, которая обычно доходит до прямого воспроизведения речи участников события как до своего предела. Таким образом, диалектный дискурс антропоцентричен в самом прямом смысле этого слова.

Действительно, в рассказе М.П. Прусской представлены и неопределенный субъект действия «ткали», и его конкретизация инклюзивным значением 1 л. мн. числа (*мы* «ложим», «подержим», «принесем» и др.), и субъект обобщенно-личный («*принесешь*»), представлены сама повествовательница ее речью, обращенной к матери, и мать как участница передаваемой коммуникативной ситуации («Ой сегодня мама побучить наверно надо»). При этом образной конкретизации подвергаются не столько технические детали процесса отбеливания, сколько ситуативно связанное с хозяйственным событием речевое общение: типичное высказывание девушки, предлагающей «побучить», и высказывание-клише (пословица) на тему необходимости иметь собственный «бук».

Наблюдения показывают, что в центре повествования диалектоносителей обычно стоит не просто человек, а в первую очередь сам рассказчик. О.А. Казакова, изучившая большой материал рассказов одной носительницы среднеобского говора, пишет: «Анализ диктумного содержания данного жанра дает возможность говорить о том, что действительность для В.П. антропоцентрична и эгоцентрична⁷. Действительно, текстовая эгоцентричность – неотъемлемое свойство повествования на диалекте.

Событийность, антропоцентричность, эгоцентричность диалектного повествования, по-видимому, тесно связаны с традиционным для сельской речевой культуры отношением к знанию: важным и достоверным представляется не услышанное в чьем-либо рассказе или тем более – пересказе, а виденное, воспринятое и прочувствованное самим человеком в качестве участника соответствующих событий⁸.

Если пересмотреть одну за другой выделенные выше черты повествования на диалекте, то складывается мнение об их взаимосвязи на основе особого типа целостности отражения мира: в специфическом текстовом единстве диалектного повествования сплавляются элементы информативного, изобразительного и генеритивного регистров; характерная для диалектной речи изобразительность (иконичность) повествования направлена не на отдельные стороны содержания, а на него в целом и проявляется не в единичных



особенностях, а буквально во всех компонентах повествования; тяготение к событийности изложения со своей стороны отражает целостность как основу восприятия мира, в котором выделяются прежде всего устойчивые положения дел и типичные их преобразования, ситуации-события с важнейшими их составляющими; место и время излагаемых событий, участники ситуации-темы легко совмещаются в диалектном повествовании с местом, временем и участниками ситуации текущего общения. Хотя диалектная речь, как и литературно-книжная, допускает возможность выделения и конкретизации любой части мыслимого мира, она выдвигает в качестве тем повествования прежде всего события с человеком в их центре; именно события она отражает своей специфической целостностью и доводит конкретизацию передачи событий до уровня прямой речи действующих лиц или участников-наблюдателей. Ситуация-событие с человеком и его речью в центре события – вот, по-видимому, общая основа целостности диалектного повествования.

Результаты лингвистических наблюдений над спецификой диалектного повествования хорошо, на наш взгляд, согласуются с психологическими представлениями о сознании как единстве его образного и рационального (рефлексивного) слоев. Оба слоя свойственны сознанию человека, «но в ментальной сфере разных людей, – пишет И.А. Стернин, – они могут быть представлены в разном объеме»⁹. Эти различия имеют, конечно, не только индивидуальный, но также социальный и культурный характер. В традиционной народной речевой культуре отражаются и рефлексивный, и образный слой сознания, при этом в специфике диалектного повествования проявляется особая роль образного слоя сознания с присущей последнему целостностью отражения мира. Эта целостность более всего отличает, с нашей точки зрения, диалектный дискурс от дискурса литературно-книжного с его рефлексивностью и глубокой специализацией знания, неизбежно превращающими сознание отдельных членов общества в сознание «частичное». Как пишет В. Буданов, «утрата целостного взгляда на мир – едва ли не самая большая утрата, приведшая к глобальному кризису нашей цивилизации на рубеже тысячелетий. Современный человек тонет в потоках разнородной информации от последних достижений генной инженерии и трагедий национальных конфликтов до чудесных свойств соусов и детских подгузников. Дисциплинарное научное знание нашего века скорее усугубляет фрагментарность картины, добавляя в нее все новые понятия и термины, постоянно возникающие на границах частных дисциплин»¹⁰. В этом аспекте рассмотренная целостность диалектного повествования выступает как несомненное достоинство актуального для диалектоносителей обыденного отражения мира. В ней можно было бы видеть и

известную слабость – слабость народно-речевого дискурса в сравнении с научным, – если бы соотнесенность бытового и научного дискурсов существовала в коммуниктивном пространстве самой традиционной сельской коммуникации. Однако такая соотнесенность возникает, как известно, лишь в ситуациях освоения диалектноносителями основных дискурсивных вариантов книжно-литературной речи и принадлежит иному коммуниктивному уровню.

Целостный характер отражения мира в диалектном дискурсе, конечно, не означает абсолютной информативной полноты и всеохватности последнего: ему, как и всякому дискурсу, присуща избирательность в моделировании действительности, и перед исследователем диалектного повествования неизбежно возникает тот же вопрос о соотношении континуума жизни и содержания рассказов о жизни, который остро стоит перед историками и философами, заставляя искать факторы, управляющие построением исторического повествования¹¹. Что именно делает необходимым обозначать и связывать в повествовании одни явления и отодвигать в сторону или полностью элиминировать другие? В коммуниктивной диалектологии это еще мало изучено, но предварительный ответ может быть таким: мир воспринимается носителями традиционной народно-речевой культуры прежде всего в форме событий с человеком в их центре; этим человеком обычно является сам повествователь; присущие диалектному повествованию событийность, образность, антропоцентричность и эгоцентричность определяют его специфическую целостность, и именно она, эта целостность, выступает ограничителем тематического фокуса дискурса и управляет составом и аспектами его содержания.

В обсуждаемом комплексе черт диалектного повествования – событийности, образности, антропоцентричности, эгоцентричности и речевой типологизации – связующей основой выступают важнейшие категории нашего сознания – событие и человек в событии. «Поскольку бытие и время, – утверждал М. Хайдеггер, – имеют место только в событии, этому последнему принадлежит та особенность, что им человек как тот, кто внимает бытию, выстаивая в собственном времени, вынесен в свое собственное существо. Так сбывающийся человек принадлежит событию». И далее: «Эта принадлежность покоится в отличительной черте события, обособлении. Благодаря последнему человек впущен в событие»¹². Чем подробнее раскрывается в диалектном повествовании событие, тем точнее оно фокусируется на человеке и его речи и тем полнее оказываются «впущенными» в событие повествователь и слушатели его рассказа.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 06-06-80428-а.

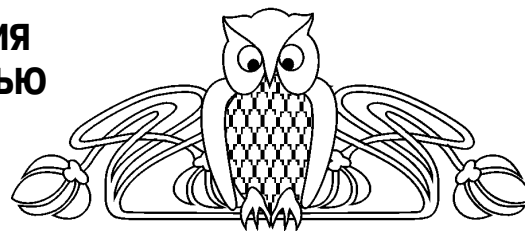


Примечания

- ¹ Подробную характеристику регистров см.: *Золотова Г.А., Ониненко И.К., Сидорова М.Ю.* Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.
- ² *Гольдин В.Е.* Теоретические проблемы коммуникативной диалектологии: Дис. в виде науч. докл. Саратов, 1997.
- ³ *Гольдин В.Е.* Изобразительность диалектной речи // Бюл. фонетического фонда русского языка. Бохум; СПб., 2000. № 7.
- ⁴ *Максимова Н.В.* «Чужая речь» как коммуникативная стратегия. М., 2005. С. 73.
- ⁵ См.: *Гольдин В.Е., Крючкова О.Ю.* Текст и знание в диалектной коммуникации // Материалы и исследования по русской диалектологии. Кн. 3(9). М., 2008. С. 401–403. См. также: *Иванцова Е.В.* Феномен диалектной языковой личности. Томск, 2002. С. 182.
- ⁶ См.: *Гольдин В.Е., Крючкова О.Ю.* Указ. соч.
- ⁷ *Казакова О.А.* Языковая личность диалектоносителя в жанровом аспекте. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2005. С. 18.
- ⁸ *Гольдин В.Е.* Доминанты традиционной сельской культуры речевого общения // Аванесовский сборник: К 100-летию со дня рождения чл.-кор. Р.И. Аванесова. М., 2002.
- ⁹ *Стернин И.А.* Об образном и рефлексивном сознании // Язык – сознание – культура – социум. Саратов, 2008. С. 103.
- ¹⁰ *Буданов В.* Когнитивная психология или когнитивная физика. О величии и тщетности языка событий // Событие и Смысл (синергетический опыт языка). М., 1999. С. 38.
- ¹¹ См.: *Олейников А.А.* История: событие и рассказ. Критический анализ философии нарративной формы: Автореф. дис. ... канд. философ. наук. М., 1999.
- ¹² *Хайдеггер М.* Время и бытие: статьи и выступления. СПб., 2007. С. 560.

УДК 811.161.1.38

О НЕКОТОРЫХ РАЗЛИЧИЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭМОТИВНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ИНТЕРВЬЮ И АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ (на материале современной российской прессы)



Е.Д. Соколова

Институт филологии и журналистики Саратовского государственного университета,
кафедра русского языка и теории коммуникации
E-mail: sokolovaed@yandex.ru

Статья посвящена проблеме изучения высказываний, выражающих эмоции, на страницах российской прессы (на материале аналитических статей и интервью).

Ключевые слова: современная российская пресса, выражение эмоций, эмотивные высказывания, интервью, аналитические статьи.

On Some Differences in Emotive Utterances in Interviews and Analytic Articles (on the Materials of Contemporary Russian Press)

E.D. Sokolova

The present article is concerned with utterances used in contemporary Russian press to express emotions (in analytical articles and interviews).

Key words: Contemporary Russian press, expression of emotions, emotive utterances, interviews, analytical articles.

Изучение языка прессы в настоящее время представляет собой актуальную проблему лингвистики, поскольку СМИ – мощное сред-

ство воздействия на массовое сознание¹. По данным психологических исследований, эмоциональное сообщение обладает повышенной эффективностью воздействия на человека: оно наиболее информативно, так как дает наиболее полный образ действительности и способствует привлечению и удержанию внимания реципиента². Для того чтобы эффективнее влиять на аудиторию, журналисты используют эмотивные высказывания (ЭВ), то есть высказывания, реализующие коммуникативную задачу выражения эмоций. Полагаем, что можно выделить собственно эмотивные и эмотивно осложненные высказывания. Собственно ЭВ (пример 1) мы называем определенный вид коммуникативов, поскольку их назначение – исключительно передача эмоций в отличие от остальных ЭВ (пример 2), выражающих эмоцию в связи с передаваемой информацией. В.Ю. Меликян классифицирует такие коммуникативы, как эмоционально-оценочные, отмечая, что их значение «связано с экспрессивно-эмоциональной и волевой сферой поведения человека, [...] является знаком отношений, чувствований и волеизъявлений»³.

(1) – Вас свела работа на НТВ?

– Что вы! Мы уже 11 лет вместе. А на НТВ я пришла только в 2003 году (Телесемь, 2006, № 29).



(2) Родной язык миллионов граждан Украины называют иностранным лишь на основании того, что он функционирует в соседней стране. Но ведь он используется в качестве родного и народом Украины! Какой же он иностранный? (ЛГ, 2008, № 25).

Полагаем, собственно ЭВ являются ядром поля эмотивности в газетных текстах. К классу эмотивно осложненных высказываний мы относим риторические вопросы, предложения, оформленные «ненейтральным» интонационным контуром, содержащие повтор, экспрессивно-оценочную лексику.

Некоторые исследователи предлагают разделить эмоциональную коммуникацию и эмотивную как различные виды коммуникации⁴. Первая – спонтанная незапланированная демонстрация эмоций субъекта как проявление его внутренних эмоциональных состояний, тогда как вторая – сознательная, контролируемая демонстрация эмоций, которая ориентирована на объект и используется в стратегических целях⁵. Всегда ли ЭВ используются в газетном тексте только для воздействия на читателя? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, обратимся к статьям и интервью, опубликованным в качественной прессе – «Известиях» (Изв.), «Литературной газете» (ЛГ), «Российской газете» (РГ), в «желтой прессе», таблоидах – «Комсомольской правде» (КП), «Московском комсомольце» (МК), «Аргументах и фактах» (АиФ). Было обнаружено примерно одинаковое количество ЭВ – 86 в интервью и 89 – в аналитических статьях. Остановимся подробно на том, какие эмоции выражаются в интервью и статьях. Эмоции классифицируем по И. Изарду⁶. Весьма отличается в интервью и статьях количественное содержание ЭВ, выражающих гнев, радость, удивление, презрение. Эмоция интереса-волнения выявляется как в интервью (38 примеров употребления), так и в статьях (32 примера употребления). В аналитических статьях, посвященных актуальным проблемам мира, страны, авторы используют ЭВ, выражающие гнев и презрение (50 и 9 примеров употребления соответственно); остальные эмоции представлены незначительным количеством высказываний (горе – 3, радость – 1, удивление – 3 примера). В интервью, напротив, большим количеством высказываний представлены эмоции радости (15), удивления (14); интервью отличаются большим разнообразием выражаемых эмоций.

Очевидно, эмоции, выражаемые в интервью при помощи ЭВ, зависят и от тематики интервью, и от личности говорящего. Так, политологи и политики, высказывавшиеся о настоящей ситуации в стране, выражали преимущественно эмоции гнева, горя, интереса. Политолог В. Третьяков, давший интервью «Литературной газете» после российско-грузинского конфликта в августе 2008 г., использовал ЭВ для выражения гнева: «Известно, кто вооружал Грузию для этой войны:

в основном – США, Израиль и Украина. И что же – они не понимали, для чего все это?! Не понимали, что это будет столкновение не с осетинами, а с Россией?!» (ЛГ, 2008, № 35). В интервью с А. Дугиным, политологом, комментировавшим результаты президентских выборов-2008, находим высказывания, выражающие горе, недовольство сложившейся ситуацией: «много усилий было направлено на пиар этих шагов (к возврату российского влияния в мировой политике. – С.Е.). Да, замечательный пиар был, а результатов, увь, нет» (ЛГ, 2008, № 9).

ЭВ, выражающие волнение, радость, встречаем, например, в интервью с Е. Исинбаевой, чемпионкой по прыжкам с шестом, после летней Олимпиады-2008, на которой она одержала победу в своем виде спорта: «Конечно, сегодняшний рекорд – совершенно особенный. Выиграть Олимпиаду с мировым рекордом – это же круто!» (АиФ, 2008, № 34). Д. Торбинский, футболист российской сборной команды, давший интервью после победы России над Голландией на чемпионате мира 2008 г., также использовал высказывания, выражающие радость, волнение: «Это была какая-то феерия. Фантастика! Сейчас я не могу найти слов, чтобы описать то состояние, в котором нахожусь!» (РГ, 2008, № 133).

Композитор Т. Хренников, исполнитель А. Данилко, известный как поп-певица Верка Сердючка, и создатель первой российской электронной библиотеки В. Мошков, говорившие о своей работе, достижениях, выражали при помощи ЭВ интерес-волнение (см. примеры 1, 2, 4, 5), удивление (3, 6).

(1) – Я оптимист. Хандрить не люблю. <...> После распада Союза композиторов мало на меня лили грязи? Я даже не оправдывался. Плевал на все обвинения (Сов. секретно, 2006, № 11).

(2) – Вы часто в жизни совершали ошибки?
– Конечно. Как я переживал после доклада, критикующего Шостаковича и Прокофьева! (Сов. секретно, 2006, № 11).

(3) – Верка Сердючка мешает Андрею Данилко быть популярным у женщин?
– Да ничего она не мешает! Чего там мешает? Такая жизнь у меня... (МК, 2008, 19–26.03).

(4) – Вы сегодня вполне счастливый человек, состоявшийся как личность, как артист...
– Наверное, счастливый больше, чем несчастливый, не знаю...

– Значит, есть минусы?
– Да до фига! (МК, 2008, 19–26.03).

(5) – Есть же еще и классика (помимо современной литературы, которой на сайте библиотеки довольно много. – С.Е.).

– Да пожалуйста! Заходите в мою библиотеку. Там имеется раздел русской классики, который очень активно пополняется (РГ, 2008, № 177).

– (6) <...> в издательстве графоманские сочинения дальше редактора, как правило, не идут, а посредством вашего сайта они вводятся в общественный доход.



– А вы посмотрите, что выпускают издательства. Посмотрите, что выкладывается на лотки. Это разве не графомания? Так что насчет понижения уровня (читательских запросов. – С.Е.) – извините, это не ко мне. (РГ, 2008, № 177).

Подобных различий в выражении эмоций при анализе тематики статей не наблюдаем. Авторы аналитических статей выражают интерес, гнев, презрение вне зависимости от проблемы, которой посвящена статья, будь то внешняя или внутренняя политика, наука, экономика, спорт, культура. Думается, это не случайно. Авторам важно привлечение внимания читателя к той или иной проблеме, формирование мнения аудитории, и для обличения недостатков, пороков общества ЭВ, выражающие гнев, презрение, являются незаменимым текстовым средством.

В статье «Россия бьет грустные рекорды» (АиФ, 2008, № 34), посвященной итогам летней Олимпиады-2008, на которой Россия показала неудовлетворительные результаты, можно встретить такие ЭВ со значением выражения гнева: «У нас нет новых методик, спортивная медицина отстает катастрофически. Развалилась система подготовки кадров. <...> Хочется спросить – все об этом узнали в Пекине неожиданно? Где вы были до сих пор? Зачем обманывать и обманываться?» Всего в этой статье было обнаружено 6 примеров выражения гнева при помощи ЭВ.

В статье «Мифофилология» (ЛГ, 2008, № 133), насчитывающей особенно большое количество ЭВ, выражающих гнев, и посвященной проблеме статуса русского языка на Украине, встречаем такие примеры: «А сегодня мы, живя на земле своих предков, позволяем называть наш родной язык «иноземною» и «російскою мовою». Кто мы – рабы или вырожденцы, что позволяем такое делать с собой? <...> врагов нашли в лице России и русских. Поэтому борьба с русским языком сограждан стала одной из основ украинского государственного строительства. И это в стране, которая по происхождению, своим корням, своему языку, культуре является русской!»

Необыкновенно яркой эмоциональной тональностью обладает статья «Доигрались», посвященная выборам человека-символа России: «О телепроекте по существу. Мы предупреждали, что нельзя сравнивать «сине с соленым, высокое с тяжелым», Хрущева с Чайковским <...>. А как сравнивать Менделеева и Чехова, Сергея Радонежского и Сергея Королева, Пушкина и Гагарина?» (ЛГ, 2008, № 30). В этой статье нами было обнаружено 11 примеров ЭВ с выражением гнева.

Остро стоящая проблема справедливости действующих в России законов нашла свое отражение в ЭВ, обнаруженных нами в статье «Несправедливость в законе» и выражающих гнев, негодование автора (найденно 5 примеров): «Если, например, бандиту, державшему в страхе

целый регион и загубившему немало жизней, дают по приговору суда семь лет условно, а голодному бомжу, стащившему в магазине замороженную курицу, полтора года реального срока? А все по закону, говорят юристы <...>. Так что же получается: не все действующие у нас законы справедливы? Или их толкование судьями далеко от наших представлений о справедливости?» (ЛГ, 2008, № 30).

ЭВ, выражающие презрение, находим в статье «Где вы, мастера эфира?!», рассматривающей важную проблему современного общества – низкое качество, однообразие и вульгарность передач, непрофессиональность ведущих на телевидении: «Почему же их (представителей национальной элиты – ученых, интеллектуалов, работников духовной, художественной и др. сфер жизни. – С.Е.) нет на экране, а появляются одни и те же лица, зачастую из сферы дешевого попсового эстрадного шоу-бизнеса, юмора и сатиры, узкоизбранного круга “мыслящих голов” или из давно готового “ремонтного набора комментаторов по политике”, а также “специалистов” (образно говоря) по программам типа “К барьеру!”?» (ЛГ, 2008, № 9).

Необходимость строительства новых дорог, недостатки в архитектуре города – вот те актуальные проблемы, которые освещает статья «В пробку всех!». Первостепенность решения задач, о которых стремится сказать автор статьи, находит свое выражение в ЭВ, выражающих презрение, например: «Они (иностранцы, гости города. – С.Е.) еще не знают о памятнике... сердцу губернии? Как узнают – мухами прилетят полюбоваться убожеством мысли и отсутствием таланта. <...> Может быть, установить по всей Московской памятки всех органов губернии. <...> Интересно, хватит ли одного квартала, чтобы уместить желудок Чиновника?» (МК, 2008, 19–26. 03).

Подытоживая сказанное, мы можем сделать несколько выводов. Интервьюируемые при помощи ЭВ выражают эмоции большего спектра, чем авторы аналитических статей: кроме ЭВ для выражения интереса-волнения, используются преимущественно ЭВ, выражающие радость и удивление и не выражающие презрение. Использование ЭВ человеком, дающим интервью, варьирует в зависимости от тематики интервью, от личности говорящего, тогда как, анализируя ЭВ в статьях, обнаруживаем, что вне зависимости от тематики эмоции выражаются одни и те же – гнев, интерес-волнение, презрение. Возможно, ЭВ используются авторами статей и интервьюируемыми в различных целях: для авторов аналитических статей ЭВ – не только средство выражения собственных ощущений, но и, прежде всего, необходимое средство воздействия на умы аудитории; человек, дающий интервью, склонен использовать ЭВ в его прямой функции – для выражения определенной эмоции.



Примечания

- ¹ Володина М.Н. СМИ как форма «общественного диалога» // Язык современной публицистики: Сб. статей / Сост. Г.Я. Солганик. М., 2005.
- ² Водяха А.А. К вопросу об эмоциональной рамке высказывания // Язык и эмоции: Сб. науч. тр. Волгоград, 1995.

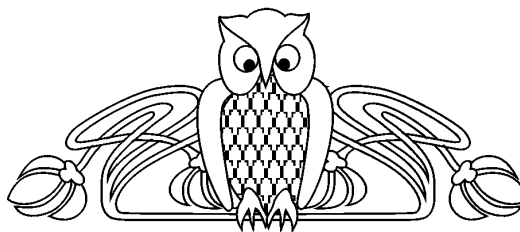
- ³ Меликян В.Ю. Словарь: эмоционально-экспрессивные обороты живой речи. М., 2001. С. 11–12.
- ⁴ Ларина Т.В. Выражение эмоций в английской и русской коммуникативных культурах // Язык и эмоции: личные смыслы и доминанты в речевой деятельности: Сб. науч. трудов. Волгоград, 2004. С. 36.
- ⁵ Там же. С. 37.
- ⁶ Изард К. Эмоции человека. М., 1980. С. 80.

УДК 82.0

МОДУЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ И ДЕЙКТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

О.Ю. Авдевинна

Педагогический институт Саратовского государственного университета
кафедра русского языка и методики его преподавания
E-mail: rosauzb@mail.ru



В данной статье предпринята попытка сопоставления модульной структуры художественного познания с морфологическими характеристиками текста, их интерпретации в аспекте анализа принципов стилообразования. В качестве грамматически выраженного конструктивного параметра текста автор рассматривает категорию дейксиса в ее языковом и художественном выражении. Элементы иерархически организованного дейктического поля могут дать инструмент для реконструкции смысловой структуры текста, что и демонстрируется на примере интерпретации романа В. Набокова «Дар».

Ключевые слова: грамматика, художественный текст, дейксис, нарративная структура, модули познания, интерпретация, Набоков.

Modules of Aesthetic Cognition and Deictic Field of Text

O.Yu. Avdevnina

The article attempts a comparison between the modular structure of aesthetic cognition and text's morphological characteristics, their interpretation in the aspect of style formation. The constructive parameter of text expressed in grammar is taken to be the category of deixis, expressed linguistically and aesthetically. Elements of hierarchically organized deictic field can serve as tools in reconstruction of text's meaning, as demonstrated by interpretation of «The Gift» by V. Nabokov.

Key words: aesthetic cognition, vectors of perception, deixis, pronouns, vagueness / uncertainty / indefiniteness, Nabokov.

Субъектно-объектная структура художественного познания

Поиск системообразующих факторов индивидуального стиля писателя, влияющих не только на организацию эстетической целостности произведения, но и на актуализацию языковой, в частности, грамматической семантики, подводит к необходимости изучать или хотя бы учитывать те категории, которые непосредственно с языком не связаны. Такой категорией является художе-

ственное познание, которое понимается нами достаточно традиционно – как эстетически, ценностно и коммуникативно ориентированный процесс освоения действительности. В этом значении может использоваться и понятие «художественное восприятие», которое подчеркивает непреднамеренность и психологическую обусловленность данного процесса. Однако существует традиция употребления понятия «художественное восприятие» в значении конечного этапа художественной коммуникации – в значении рецепции, понимания и интерпретации искусства¹. Формами, выявляющими механизм восприятия в последнем значении, считаются 1) собственно восприятие (расшифровка знаковой системы и понимание смысла текста) и 2) реакция на восприятие (строй чувств и мыслей, пробужденных в душе реципиента)².

Именно в аспекте художественной коммуникации рассматривает феномен художественного восприятия Е.А. Елина³. Выделенные ею типы восприятия произведения искусства (наивный, искусствоведческий, философский и поэтический) достаточно четко соотносятся с формами, выделенными Ю.Б. Боровым (собственно восприятием и реакцией на восприятие) и вполне могут считаться этапами и/или уровнями художественной рецепции. Мы предполагаем, что такую же структуру имеет и творческая рецепция – художественное познание, тем более что «психология художественного восприятия (рецепции) зеркальна по отношению к психологии художественного творчества»⁴. И тот и другой процесс, во-первых, определяется поступательным движением от «окружения» к «кругозору»⁵, от бытийного к рефлексивному уровню сознания⁶ и, во-вторых, строится по модели «субъект (познания, восприятия) – объект», объектом же может быть и действительность, и произведение искусства. Поэтому само обозначение художественного освоения действительности в процессе



творчества (восприятие или познание) для нас не принципиально.

Оба названных параметра художественного познания (во-первых и во-вторых) предполагают дейктическую организацию элементов текста, так как именно дейктические элементы обнаруживают говорящего субъекта, составляют «мир говорящего», выявляют те объективные и субъективные связи между высказыванием и процессом его порождения (речевой ситуацией), которые устанавливает сам говорящий⁷. Художественный повествовательный текст может рассматриваться как неканоническая речевая ситуация с нарративным режимом функционирования эгоцентрических элементов. Такое основание для реконструкции текстового дейкиса было установлено в теории эгоцентричности языка и речевого субъекта как наблюдателя Е.В. Падучевой⁸.

Субъектно-объектная направленность процесса художественного познания определяется таким его имманентным свойством, как антропоцентричность, которая становится и свойством художественного текста. Все элементы организуются вокруг и согласно познающему субъекту. Дейктичность, таким образом, приобретает статус стилового кода, грамматически выраженной константы текста.

Необходимо поставить вопрос о формах, объеме и степени выраженности в тексте самого познающего субъекта. Не касаясь в данной статье теории точки зрения, которая составляет одну из проблем нарратологии, мы исходим из того, что, согласно механизму «вживания в другого», художник приписывает повествователю или герою те приоритеты в восприятии и познании, которые свойственны ему самому. Фигура нарратора как посредника между героем и автором – это моделируемая рецепция, познающий субъект, психологически близкий самому автору. Именно поэтому мы можем вести речь о стилоформирующем значении такой категории, как индивидуализированное художественное познание.

Поступательность развития художественного познания заключается в изменении характера объекта. **Первый вектор процесса** может быть определен как «вижу» – направленность восприятия от субъекта (писатель, рассказчик, созерцатель, нарратор) к объекту (мир, действительность). В терминах художественной коммуникации это «бытийное», «образное», «наивное» восприятие⁹. Ему соответствует **пространственно-визуальный модуль** творческого познания действительности. В тексте он выражается актуализацией описания, номинативных предложений, форм винительного падежа в объектном значении, глаголов со значением зрительного восприятия и т.п.: 1. «Он *раскрывал глаза* и опять *видел* сад, газон с маргаритками, свежеспелый гравий, девочку, самое с собой играющую в классы, младенца в коляске, состоявшего из двух глаз и розовой трещотки, путешествие *слепнувшего*, дышащего, лучащегося

диска сквозь облако ...» (с. 55)¹⁰; 2. «Елизавета Павловна как всегда будто *искала* чего-то, быстро *обводя мир летучим взглядом* переливчатых глаз. Немецкий праздничек выдался дождливым <...>, кое-где на углах рекламный рождественский дед в красном зипуне раздавал объявления. В витринах универсального магазина какой-то мерзавец придумал *выставить* истуканы лыжников, на бертолетовом снегу, под Вифлеемской звездой. Как-то *видели* скромное коммунистическое шествие, – по слякоти, с мокрыми флагами <...>. Отправились *посмотреть* на дом, на квартиру, где втроем два года прожили, но швейцар уже был другой, прежний хозяин умер, в *знакомых* окнах были *чужие* занавески, и как-то *ничего нельзя было сердцем узнать* <...>» (с. 81). Зрительное восприятие характеризуется расчлененностью описания, случайностью подбора и бессвязностью его элементов, а также статичностью самого восприятия. Оба фрагмента содержат глаголы со значением восприятия глазами и глаголы, имплицитно эту семантику, например, *слепнувшего диска* (солнца, исчезающего из поля зрения), *выставить в витринах* (напоказ, на обозрение), большое количество существительных в форме винительного падежа способствует языковой манифестации расчлененности объектов восприятия. Фрагмент 2 намечает и вектор восприятия: от «видеть» к «знать» и «чувствовать» – не реализующийся в изображенной ситуации (*ничего нельзя было сердцем узнать, в знакомых окнах – чужие занавески*).

Второй (психологический) модуль художественного познания (как некая постоянная его характеристика) определяется вектором: субъект познания («Я» повествователя, нарратора и т.п., автобиографическое «Я») → объект (то же «Я», «мои» мысли, чувства, «моя» рефлексия по поводу увиденного). Такая транспозиция объекта универсальна для языка и речи. В грамматике она проявляется, например, в возникновении разных типов залоговой ситуации (в собственно-возвратном залоге субъект действия является и его объектом: *я умываюсь – умываю себя*). Этот же поворот восприятия обуславливает и различия нарративных модусов, логико-функциональных типов дискурса (описания, повествования, рассуждения): объектами описания предстают элементы объективного мира, трансгредивные самосознанию субъекта¹¹, основой повествования и рассуждения становится рефлексия (логическая и/или эмоциональная) по поводу увиденного, процесс осмысления или переживания увиденного. Это поворот от «видеть» к «знать» и «понимать». Само появление в тексте глагола *знать* может служить сигналом смены направления рецепции и нарративного модуса: 3. «Когда он поселился у Щеголевых и *увидел* ее первый раз, у него *было ощущение*, что он уже многое *знает* о ней, что и имя ее ему давно *знакомо*, и кое-какие очертания ее жизни, но до разговора с ней он не мог себе *уяснить*, откуда и как он это *знает*. Сначала он



видал ее только за обедом и осторожно *наблюдал* за ней, *изучая* каждое ее движение. Она едва говорила с ним, хотя по некоторым признакам – не столько по зрачкам, сколько по отливу глаз, как бы направленному в его сторону, – он *знал*, что она *замечает* каждый его *взгляд*» (с. 159). Соотношение единиц, обозначающих разные направления восприятия (с одной стороны, *видеть*, с другой стороны – *знать*, *изучать*, *уяснять* и переходные случаи – *наблюдать*, *замечать*), является одним из способов психологизации повествования, который моделирует интериоризацию внутреннего мира героя. Это движение художественной мысли от внешнего (объективного) к внутреннему (субъективному), от наблюдаемого (событийного) к ненаблюдаемому (психологическому)¹², тот поворот восприятия, о котором шла речь выше. Особую роль в кодировании этого процесса играет форма дательного падежа, выполняющая здесь дейктическую функцию – функцию указания на рационального наблюдателя (*по некоторым признакам – не столько по зрачкам, сколько по отливу глаз*), совмещающего персонажную точку зрения с точкой зрения автора¹³. Это совмещение делает расплывчатым и неопределенным самого наблюдателя – субъекта восприятия, что вполне соответствует законам референции: «Язык категоризирует и делит все виды событий на два когнитивных типа: наблюдаемые события и известные события. Референция к наблюдаемому событию имплицитно подразумевает наличие в данной ситуации распознаваемого источника информации об этом событии, т.е. указание на наблюдателя, в то время как референция к известному событию не сопровождается таким указанием»¹⁴.

Фрагменты 2, 3 (и многие другие примеры) дают основание предположить, что со сменой субъектно-объектного плана и направления рецепции возрастает актуальность семантики неопределенности. Это возрастание выражается и в активности неопределенных местоимений (*чего-то, кое-где, какой-то, как-то, кое-какие, некоторые* – 1, 2, 3), и в других элементах смысла: в лексической семантике (*чужие*, т.е. незнакомые), косвенных вопросах (3), отрицательных частицах (*не мог уяснить*) и т.п. Смена модуля художественного познания, таким образом, – это поворот от «видеть» не столько к «знать», сколько к «не знать», «не понимать», но пытаться понять, вспомнить, прояснить для себя. Сами эти мыслительные и эмоциональные усилия и определяют характер и динамику художественного познания. Аспект «не знать» и «не понимать» означает той плоскостью художественного восприятия, которая формирует одну из координат текстового дейксиса – поле неопределенности, являющегося уровнем и текста, и произведения как эстетического целого.

Значение неопределенности относится к дейктической семантике не потому, что это один из видов местоименного значения, а потому, что определенность и неопределенность устанавлива-

ется с точки зрения говорящего субъекта или его заместителя – наблюдателя. Значение неопределенности – это средство субъективации повествования, если под субъективацией понимать обнаружение в тексте познающего субъекта.

Дейксис и ретроспекция

Актуализация дейктических элементов зависит от нарративной структуры текста, которая в свою очередь определяется теми же модулями познания, о которых шла речь выше. Первый модуль соотносится пространственно-временной координатой повествователя-наблюдателя, второй оформляет психологический дейксис – маркирует такие категории, как рефлексия, воображение, воспоминание. Дейктическая система становится особенно сложной и многослойной в нарративных моделях с выраженным наблюдателем, например, в повествовании от первого лица. Для того чтобы субъект стал объектом собственной рефлексии, увидел себя со стороны, он мысленно должен отдалиться от себя в пространственно-временном плане. Это возможно только в памяти о событиях своей жизни. Моделируя работу памяти, процессы воспоминания, писатели часто обращаются к таким повествовательным формам, которые базируются на субъективно выраженном восприятии, используют «я» повествователя. Схемы построения повествования могут быть разными. Интересной нам представляется нарративная модель, в которой наблюдатель-повествователь ощущает себя в двух пространственно-временных плоскостях: реальной и воображаемой, виртуальной, воображение в таких моделях обращено в прошлое жизни героя. Прошлое – это не минувшая реальность, а ирреальность, психологическая реальность. Таким построением отличаются многие произведения В.В. Набокова (романы «Машенька», «Дар», «Другие берега», некоторые рассказы). Воспоминания о детстве, юности, первой любви – одно из традиционных для русской литературы направлений развития темы Родины, России. Мы рассмотрим особенности организации художественного дейксиса в романе «Дар», в котором автор не просто следует этой традиции, а осложняет ее тем, что моделирует работу памяти и показывает, что по этой же модели работает и творческое сознание. Ностальгические мотивы перерастают в размышления о психологической природе и нравственных основах самого процесса творчества.

Анализ произведений, для которых актуальна психологическая равноценность реальности и памяти, а также разных пространственно-временных планов, приводит нас к необходимости дополнить типологическую характеристику художественного познания еще одним подходом – аспектом темпоральной позиции познающего субъекта, осознания себя в пространстве и времени. В этом смысле можно вести речь о ретроспективном типе



мировосприятия писателя, который некоторые исследователи считают особой психологической характеристикой языковой личности, одним из темпоральных ее типов, которому противопоставлены синхронный и проспективный ее типы¹⁵. Однако это неравновесные типы. М.М. Бахтин считает, что ретроспекция вообще единственный способ архитектурного оформления художественного видения, единственно возможная форма его эстетической завершенности, потому что «переживание должно отойти в абсолютное смысловое прошлое со всем тем контекстом, в который оно было неотрывно вплетено и в котором оно осмысливалось. Только при этом условии переживание стремления может приобрести некую протяженность, почти наглядно созерцаемую содержательность»¹⁶. Такое же значение придает ретроспекции и Г.Д. Гачев, который говорит о том, что память о прошлом – это мировоззренческое содержание эпических форм: эпос есть «око, обращенное в прошлое»¹⁷, синоним самому воображению, представлению – «бытие п р е д с т а л о п р е д (выделено Г.Д. Гачевым. – О.А.) – значит, родилось то, что отлично от жизни, бытия, – сознание»¹⁸.

При ретроспективном мировосприятии взгляд писателя не просто обращен в прошлое, но прошлое психологизировано в тех же формах, что и настоящее. Оно не анализируется и не оценивается, а воспринимается по первому модулю – модулю «видеть». Прошлое и реальное настоящее – два мира, сосуществующих в сознании человека: один вовне человека (настоящее), другой – внутри, в чувствах, в представлении (прошлое)¹⁹: 4. «Был я, доложу вам, слаб, капризен и прозрачен, как хрустальное яйцо. Мать поехала мне покупать ... что – я не знал <...> Лежа неподвижно и даже не жмурясь, я мысленно вижу, как моя мать, в шеншилах и вуали с мушками, садится в сани <...> Улица за улицей развертывается без всякого моего усилия <...> Моя мать быстро идет к магазину, название и выставку которого я не успеваю рассмотреть, так как в это мгновение проходит и окликает ее (но она уже скрылась) мой дядя, а ее брат, и на протяжении нескольких шагов я невольно *сопутствую* ему, стараясь *вглядеться* в лицо господина, с которым он удаляясь беседует» (с. 21–22). Характерен для воспоминания, усиленного воображением, взгляд на себя со стороны: в данном примере это описательное сравнение (*я был ...прозрачен, как хрустальное яйцо*). Воображение и воспоминание для Набокова имеет визуальную основу (отсюда метафора воспоминаний – «веер цветных открыток» – так же, как и словесное творчество: писатель – наблюдатель, соглядатай. Отсюда значимость воспоминаний о детстве, которое дало первый опыт соглядатайства. Писательство начинается с потребности вспомнить и запечатлеть воспоминания.

Нарративную модель романа «Дар» отличает также смена позиций «я – ты – он» наррации,

чаще всего – «я – он», что напрямую связано с особенностями дейктической системы произведения. Главный герой романа поэт Федор Константинович Годунов-Чердынцев выполняет в наррации роль то субъекта, то объекта. «Он» в смысловой структуре текста становится тождественным «я», хотя структура усложняется появлением «я» и других повествователей. Несомненна рекурсивность нарративной модели романа: одно восприятие вложено в восприятие другого субъекта. Воображение (в данном случае воспоминание) так же многосубъектно, как и сам человеческий мир.

Смена ракурсов наблюдения часто никак не выражается сюжетными средствами. Главными манифестантами этих процессов становятся личные и некоторые указательные местоимения. Именно дискурсивное взаимодействие *он* и *я* с одним и тем же antecedентом позволяет моделировать в повествовании рекурсивность речевой ситуации (речь-воображение, речь-мысль, воспоминание-воображение) и двунаправленность наррации (два основных модуля восприятия): 5. «Род магазина, в который *он* вошел, достаточно определялся тем, что в углу стоял столик с телефоном. <...> Тех русского окончания папирос, которые *он* предпочтительно курил, тут не держали, и *он* бы ушел без всего, не окажись у табачника крапчатого жилета с перламутровыми пуговицами и лысины тыквенного оттенка. Да, всю жизнь *я* буду добирать натурой в тайное возмещение постоянных переплат за товар, навязываемый *мне* <...> (с. 7). 6. В *то* шестнадцатое лето *его* жизни *он* впервые взялся за писание стихов серьезно; до *того*, кроме энтомологических частушек, ничего и не было <...>. В доме пописывали все <...> Наконец был и один настоящий поэт, двоюродный брат матери, князь Волховской, издавший толстый, дорогой <...> том томных стихотворений «Зори и Звезды» <...> *Я* ничего не помню из этих пьесок, кроме часто повторяющегося слова «экстаз», которое уже *тогда для меня* звучало как старая посуда: «экс-таз»» (с. 132–133). Смена местоимения обычно осуществляется в направлении *он* к *я*, которая может интерпретироваться как динамика нарративных модусов: движение от внешней событийности к внутренним впечатлениям, ассоциациям, внутренней рефлексии на события. Образ нарратора (посредника между автором и персонажем) размыт: с одной стороны, создается иллюзия, что Годунов-Чердынцев воспринимает свою жизнь как повествование, смотрит на себя как на литературного героя и обозначает себя *он*, с другой стороны – появление в повествовании *я* может быть расценено как введение авторского голоса и сигнал автобиографичности романа.

Элементом дейктической системы становится также противопоставление временных форм глагола (выше было сказано о важности темпоральной перспективы в организации дейксиса): в примере 5 сигналом поворота восприятия ста-



новится не только смена местоимения с *он* на *я*, но и изменение формы глагола с прошедшего на будущее (*вошел, стоял* и т.п. – *буду добираться*). Рассмотренные в аспекте модулей познания, прошедшее и будущее грамматические времена, как и прошлый и будущий временные планы, обнаруживают разную степень психологизации и субъективации. Выше она у форм будущего времени, ниже – у форм прошедшего (не случайно у глаголов прошедшего времени нет значения лица – дейктической семантики первого порядка – а только значения рода).

Помимо сложностей в идентификации повествователя (*он* – *я*), пример 6 содержит также указательное местоимение, использованное в условиях формирования некоей смысловой избыточности. Так, местоимение *то* как указание на удаленность во времени и пространстве предполагает противопоставление семантике *это*, но в случае *то шестнадцатое лето* такое противопоставление невозможна. Местоимение *то* приобретает значение ‘давнее, значительно удаленное во времени’ и по темпоральной семантической соотносится с местоимениями *до того, тогда* (пример 6); все выражение *то шестнадцатое лето* является антецедентом данных местоимений. Налицо гиперсемантизация указательности (*то*) с совмещением временного и психологического ракурсов ретроспекции. Такое употребление вполне традиционно для сказовой формы повествования.

Художественная актуализация местоименных слов

Периферией дейктического поля произведения можно считать, на наш взгляд, такое функционирование местоименной лексики, которое напрямую не связано ни с модулями художественного познания, ни с нарративной структурой текста, хотя анализ системности ее использования в произведении все же обнаруживает эту связь.

Традиционным направлением художественной актуализации местоимений является их дерексификация, которая заключается в замене *свой* на местоимение третьего лица (*его жизни* – пример 6) и «объясняется неполной эмпатией говорящего с субъектом, т.е. социальной, психологической, оценочной или еще какой-то отчужденностью от субъекта»²⁰. Иначе говоря, именно это *его* вводит еще одного субъекта повествования – автора, который словно стремится то подчеркнуть автобиографичность воспоминаний, то отстраниться, обособиться от них и от своего героя.

Субъектную многоплановость придает повествованию и совмещение местоимений второго и третьего лица, которое не меняет ролей в ситуации речи: 7. «Хозяйка пришла звать *его* к телефону, и *он*, вежливо сутулясь, последовал за ней в столовую. “Во-первых, – сказал Александр Яковлевич, почему это, милостивый государь, у

вас в пансионе так неохотно сообщают *ваш* новый номер? Выехали, небось, с треском? А во-вторых, хочу *вас* поздравить... Как – *вы* еще не знаете? Честное слово?” (“*Он* еще не знает”, – обратился Александр Яковлевич *другой* стороной голоса к *кому-то* вне телефона)» (с. 9). Художественная маркированность данного употребления местоимений заключается, на наш взгляд, в том, что один и тот же антецедент обозначается тремя разными способами: местоимением *он* в авторской речи, что вполне соответствует его анафорической позиции в повествовательном тексте, местоимением *вы* и равным ему местоимением *он* в речи героя («*Он* еще не знает»). Первое *он* маркирует восприятие нарратора-автора, *вы* и последнее *он* – восприятие персонажа. Следовательно, местоимение *он*, употребленное в разных повествовательных позициях, но в одном контексте, не равно самому себе и осложняет нарративную структуру, формирует подобие последовательной включенности ракурсов восприятия: автор – герой-повествователь – второстепенный персонаж (говорящий по телефону). Эта осложненность подчеркивается другими местоимениями, использованными в данном контексте: *другой* (*стороной голоса*) и *к кому-то*. Первое придает синкретизм образу (звуковому образу голоса приписывается пространственный признак), второе выводит за пределы восприятия некий план вне описанной ситуации: *вне телефона*. Это невидимый план повествования, отсюда возникает необходимость в использовании неопределенного местоимения (*к кому-то*). Мы снова получаем подтверждение тому, что семантике неопределенности в романе «Дар» принадлежит особая роль, едва ли не стержневая в дейктической системе произведения.

Одним из способов художественной актуализации местоименной лексики является ее употребление в генерализующей функции – функции, близкой к артикю. Такую функцию ученые отмечают прежде всего у притяжательных и указательных местоимений. И.И. Ревзин пишет о характерной для поэтического языка и для разговорной речи генерализации местоимения *этот*: «Для носителя русского языка генерализующее *этот* всегда экспрессивно»²¹. Е.В. Падучева говорит об артиклетиподобных элементах в составе именной группы, о «размытости анафорических возможностей местоимения *это*»²². Наш анализ процесса генерализации местоимений в художественной прозе показал активность функционирования притяжательных местоимений в генерализующей функции в прозе А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. В романе «Дар» мы находим множество примеров употребления притяжательных местоимений в генерализующей функции: 8. «*Его* пасмурность, прерываемая резким крикливым весельем, свойственным безъюрным людям; *его* сентиментально-умственные увлечения; *его* чистота <...>; *его* ощущение Германии; *его* безвкусные тревоги <...>; наконец, *его* стихи...



словом все то, что для его матери было преисполнено очарования, мне лишь претило» (с. 35); 9. «Мне хотелось бы с такой же относительной вечностью удержать то, что быть может я всего более любил в нем: *его* живую мужественность, непреклонность и независимость *его*, холод и жар *его* личности, власть над всем, за что он ни брался» (с. 101–102); 10. «Он был наделен ровным характером, выдержкой, сильной волей, ярким юмором; когда же он сердился, *гнев его* был как внезапно ударивший мороз» (с. 103). Генерализация семантики местоимений в приведенных контекстах заключается в том, что употребление притяжательного местоимения *его* в значении 'характерный для него, присущий ему' в именных группах и в цепочках однородных членов в смысловом плане избыточно. Функция этого местоимения в данных контекстах – в крайней степени субъективации повествования: этим *его* говорящий подчеркивает свою отдельность от того, о ком он говорит, свою несхожесть с ним.

Несомненна роль местоимения и в маркировании логико-функционального типа речи или нарративного модуса – перехода от событийности к рассуждению – в данном случае (примеры 8–10) рефлексии по поводу личности того или иного человека, о котором рассказывает повествователь. Это рефлексия по линии «я и он», «что значил он для меня». Не случайно в приведенных примерах использованы безличные конструкции с пассивным субъектом *мне* (9, 10): *мне лишь претило...*, *мне хотелось бы...* и страдательные конструкции со скрытым, но восстанавливаемым субъектом: *гнев его был как внезапно ударивший мороз* (для окружающих, прежде всего для меня – говорящего). Субъективация повествования, выраженная посредством употребления притяжательного местоимения в генерализующей функции, оказывается и субъективизацией повествования: не просто вводится субъект восприятия событий, но и декларируется субъективность этого восприятия.

Одним из приемов художественного маркирования местоимения является языковая игра по линии нарушения принципа кореферентности. «Если кореферентность понимается как отношение на множестве языковых выражений, то нарушение принципа кореферентности обнаруживается, когда анафорическая отсылка осуществляется к «пустому» или «туманному» антецеденту <...>²³.

Этот прием активно используется в романе «Дар» и подчинен, на наш взгляд, формированию дейкиса неопределенности, значимого для интерпретации данного произведения. 11. «Я с *ней* познакомился в июне 1916 года. *Ей* было года двадцать три. *Ее* муж, приходившийся нам дальним родственником, был на фронте <...> Во всей *ее* повадке было *что-то* милое до слез, *неопределимое* тогда <...> *Она* была неумна, малообразованна, банальна, то есть полной *твоей*

противоположностью...нет, нет, я вовсе не хочу сказать, что *ее* любил больше *тебя*» (с. 134). Ни *она*, ни *ты*, упомянутые в данном примере, не даны в предтексте: не названы имена, роль и место этих женщин в жизни героя и т.п. Можно только предположить, что *она* – это первая любовь героя, воспоминания о которой сливаются в памяти с воспоминаниями о детстве, о родине. В таком прочтении самого события первой любви не важны имена и даже сам объект любви, а важен первый опыт высокого чувства, собственные ощущения героя, психологической доминантой в которых становится неопределенность (*что-то, неопределимое*): рефлексия важнее объекта рефлексии.

Та женщина, которая обозначена *ты*, прояснится в дальнейшем повествовании – это Зина Мерц, возлюбленная Годунова-Чердынцева. Но указание на нее дано раньше появления самой героини, которое, как мы знаем, обставлено в романе тайными знаками судьбы, подано как хитроумные старания самого рока соединить людей. Антецедент, таким образом, дается в посттексте по отношению к дейктическому средству. Более того, «туманность антецедента» *ты* усилена тем, что он подан во втором лице, как адресат повествования, главный читатель книги о жизни Годунова-Чердынцева или слушатель его воспоминаний о детстве. В классическом повествовании адресатом является любой человек, который прочтет книгу. В данном же случае, оказывается, есть конкретный, определенный адресат, который не конкретизирован и не определен.

Как видим, нарушение принципа кореферентности может заключаться не только в отсутствии антецедента, но и в препозиции по отношению к нему самого местоимения. С помощью *она* и *ты* герой-нарратор намечает перспективу и повествования, и своей жизни, и своего душевного состояния: движение от прошлого к будущему. А будущее связано для него с представлением о счастье, которое субъективно уже потому, что оно – мечта; преодоление страдания прошлого имеет цену счастья, *о котором мне знать рано* (*только и знаю, что оно будет с пером в руке*) (см. пример 12).

Дейкис неопределенности, на наш взгляд, уже не просто входит в структуру текста романа, но и формирует категории содержательного плана данного произведения: динамику повествования, тему, идею, образ героя, систему персонажей, позицию автора и т.п. – все то, что составляет интерпретационный потенциал романа. Неопределенность входит в круг значений местоименных слов прежде всего кванторной дейктичности и относится к субъективным типам указания²⁴, так как устанавливается с точки зрения говорящего. Неопределенность может проявляться в следующих типах значений: 'неизвестность говорящему', 'известность говорящему, но неизвестность слушающему', 'непонятность', 'неясность восприятия' (например, предмет за пределами видимого),



‘отдаленность в пространстве или времени’, ‘неразличимость’, ‘непонятность’, ‘невозможность понять или объяснить’, ‘странность’, ‘неважность для понимания’, ‘тайна’ и т.п. Все это разнообразию семантических оттенков неопределенности придает равновесие и системность, во-первых, двувекторность восприятия («видеть» и «знать») и, во-вторых, темпоральная динамика познания, в которой, как было показано выше, прошлое, настоящее и будущее повествования являются эстетически неравноценными.

В плоскости «видеть» неопределенность может означать ‘не видеть’, ‘плохо различать’, ‘видеть неясно’ и т.п., а в плоскости «знать» – ‘когда-то знать, но забыть’, ‘не понимать’, ‘не уметь объяснить’ и т.п.

В романе «Дар» мы отмечаем высокую концентрацию всех названных типов значения неопределенности, репрезентированной разными языковыми средствами, и в первую очередь – местоимениями.

Основной способ актуализации неопределенных местоимений – высокая их частотность и в тексте романа, и в отдельных контекстах, а также уточнение их семантики посредством употребления знаменательных слов со значением неопределенности: 12. «*Быть может, когда-нибудь*, на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя *привидением* <...> я еще выйду с той станции, пешком пройду стезжкой вдоль шоссе с десятков верст до Лешина <...> Когда дойду до тех мест, где я вырос, и *увиджу то-то и то-то* – или же вследствие пожара, перестройки, вырубки, нерадивости природы, *не увиджу ни того, ни этого* (но все-таки *кое-что*, бесконечно и непоколебимо верное мне, *разгляжу* <...>), то, после всех *этих волнений*, я испытаю *какую-то* удовлетворенность страдания – на перевале, *быть может*, к счастью, о котором *мне знать рано* (только и *знаю*, что оно будет с пером в руке)» (с. 24). 13. «Между домами виднелось *незастроенное* место, и там *что-то* скромно и *таинственно* цвело, а задние, сплошные, аспидно-черные стены *каких-то* других отвернувшихся домов в глубине были в *странных*, привлекательных и как будто ни от чего не зависевших белесых разводах, напоминавших *не то* каналы на Марсе, *не то что-то* очень далекое и *полузабытое*, вроде случайного выражения из *когда-то* слышанной сказки, или старые декорации для *каких-то* *неведомых* драм» (с. 146). В таких контекстах, предельно концентрирующих семантику неопределенности в местоимениях и знаменательных словах (*привидения*, *странный*, *таинственно* и т.п.), это значение могут приобретать и другие местоимения, например указательные (пример 12), определительные (13). Поле неопределенности организуется и по темпоральному показателю: это оппозиция «когда-то» (прошлое – 13) и «когда-нибудь» (будущее – 12) – противопоставление разных полюсов художественного познания: его источника (стимула) и цели. Как

видим, выраженные в категориях времени, эти полюса все же имеют не временную природу, а составляют иррациональный план, невыразимый и неопределимый.

Проекция дейкиса неопределенности на фабульно-сюжетную структуру романа помогает выработать стратегию смысловой интерпретации произведения. Так, тему России, ее прошлого формируют в романе «Дар» два центральных образа: образ отца Годунова-Чердынцева и образ Н.Г. Чернышевского. Оба являются знаковыми фигурами жизни героя: один в масштабе его воспоминаний о детстве, другой – в масштабе жизни России. Мысли о них возбуждают в герое стремление остановить ушедший образ прошлого, прояснить его, чтобы понять самому. Отец героя, горячо им любимый и потерянный в годы революции (символ потери отечества), безусловно, противопоставлен Н.Г. Чернышевскому – символу русской революционной мысли. У Годунова-Чердынцева не получается роман об отце, хотя он старательно собирает материал для этого романа. Но отец – тема невыразимая для героя. Зато роман о Чернышевском приводит писателя отнюдь не к мемориальной, патетической, а к пасквильной, обличающей форме повествования о легендарной исторической личности, хотя это форма первоначально и не мыслилась автором. Отец героя и Н.Г. Чернышевский противопоставлены в романе и по линии «определенность / неопределенность».

Концентрация семантики неопределенности относится к тем частям романа, которые повествуют о России, о детстве героя, о его отце – словом, о том, что любит герой. Характер отца, образ его жизни, сама таинственность его исчезновения – все составляет тайну, которую силится разгадать герой: 14. «Я подхожу к самому, *может быть*, главному. В моем отце и вокруг него, вокруг этой ясной и прямой силы было *что-то*, трудно передаваемое словами, *дымка, тайна, загадочная недоговоренность* <...> Мне иногда *кажется* теперь, что, *как знать, может быть*, удаляясь в свои путешествия, он не столько *чего-то* искал, сколько бежал от *чего-то*, а затем, возвратившись, понимал, что *оно* все еще с ним <...> *Тайне* его я *не могу подыскать имени* <...> И *странно: может быть*, наш усадебный сторож <...>, именно он искренне и без всякого страха считавший, что мой отец, *знает кое-что такое, чего не знает никто*, был по-своему прав» (с. 104). Неопределенность восприятия, понимания человека другими людьми подается, таким образом, со знаком «плюс» (хотя своеобразно обыграна в образах Александра Яковлевича Чернышевского и его сына Яши). Неопределенность в реконструируемом мировосприятии писателя – это сомнение в возможностях рационального постижения жизни, человека, искусства – позиция, достаточно традиционная для русских писателей.



Доминантной чертой образа Н.Г. Чернышевского, напротив, становится определенность, ясность, и это главный его недостаток: 15. «Всегда испытывая влечение к *точному определению* отношений между предметами, он любил *планы, столбики цифр*, наглядное изображение вещей» (с. 196); «Мечтания молодого Чернышевского в отношении любви и дружбы не отличаются изысканностью – и чем больше он предается им, тем *яснее* вскрывается их порок, – их *рассудочность*; глупейшую из грез он мог согнуть в *логическую дугу*» (с. 199); «Как и слова, вещи имеют свои падежи, Чернышевский все видел в *именительном*» (с. 215); «...такого человека иррациональная новизна сердит пуще ветхого невежества» (с. 215). Та часть романа, которая содержит книгу Годунова-Чердынцева о Чернышевском, отличается концентрацией лексики со значением ясности, точности, т.е. определенности.

Эту рассудочность, желание рационалистически припечатать жизнь (и искусство – диссертация Чернышевского) В.В. Набоков не принимает не только в нем, но и вообще в русской мысли. Именно рационалистические идеалы и стали причиной великой катастрофы, в которой погибла старая Россия, исчез любимый отец героя и «лешинский рай» его детства. Определенность и неопределенность под этим углом художественной мысли возводятся в ранг нравственных категорий.

Почему же создание романа о Чернышевском герой воспринимает как выполнение нравственного долга перед пропавшим без вести, скорее всего, погибшим отцом? Не претендуя на полноту ответа на этот вопрос, мы можем предположить, что именно он (этот вопрос) выводит к теме творчества, которое понимается В. Набоковым в категориях психологии сознания. Художник стремится в процессе творчества к некоей ясности для себя, к завершенности осознания того, о чем он пишет. С книгой о Чернышевском Годунов-Чердынцев получает это удовлетворение ясностью. Функция искусства – ставить границы в осознании бытия. Неслучайно именно эта символика безграничности бытия и завершенности произведения искусства появляется в рифмованном финале романа: «Прощай же, книга! Для видений – отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, – но удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть ... судьба сама еще звенит, – и для ума внимательного нет границы – там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синее за чертой страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка» (с. 330). Для творческого сознания Годунова-Чердынцева Чернышевский – это поставленная точка, отец – неопределимый «призрак бытия». Сознание неизбежности этого соотношения и придает процессу творчества нравственную и психологическую гармонию.

Таким образом, дейктические элементы текста, сконцентрированные и организованные

в романе вокруг и в пределах поля неопределенности, подчинены в этом произведении общим тенденциям построения смысловой структуры, а следовательно, и тенденциям индивидуализированного (набоковского) художественного познания. Анализ текстового дейксиса дает инструмент для интерпретации смысла произведения.

Возвращаясь к поставленному в начале статьи вопросу о поиске стилевых кодов, универсальных параметров текста, определяющих специфику разных уровней и текста, и произведения, приведем мнение И. Широнова: «Филологическая наука в течение последних ста лет с неизменным упорством возвращается к мысли о том, что многие достаточно расплывчатые и практически не верифицируемые литературоведческие категории (такие, как “жанр”, “художественный метод”, “художественный мир”, “художественность” и т.п.) должны быть описаны с помощью гораздо более простых лингвистических категорий, рассматриваемых как своего рода “семантические примитивы”»²⁵. К данным параметрам, на наш взгляд, могут быть отнесены те содержательные координаты текста, которые получают выражение в грамматических единицах и грамматической семантике, потому что именно эти виды языковых значений носят глубинный универсальный характер, что соответствует правилу универсальности параметра. Такими параметрами мы считаем глагольность и номинативность, оставшиеся за пределами темы данной статьи²⁶, а также дейксис, составляющий одну из важнейших вертикалей текста.

Примечания

- 1 См.: *Борев Ю.Б.* Эстетика. М., 2002. С. 437–447.
- 2 Там же. С. 442.
- 3 См.: *Елина Е.А.* Языковое выражение разных способов художественного восприятия // *Язык. – Сознание. – Культура. – Социум: Сб. докладов и сообщений междунар. науч. конф. памяти проф. И.Н. Горелова.* Саратов, 2008. С. 188–192.
- 4 *Борев Ю.Б.* Указ. соч. С. 443.
- 5 *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 87–88.
- 6 *Стернин И.А.* Об образном и рефлексивном сознании // *Язык. – Сознание. – Культура. – Социум: Сб. докладов и сообщений междунар. науч. конф. памяти проф. И.Н. Горелова.* Саратов, 2008. С. 99–104.
- 7 См., напр.: *Алферов А.В.* Дейксис de dicto: функциональный класс интеракционных индексалов // *Филологические науки.* 2001. № 2. С. 85–93; *Крылов С.А.* О семантике местоименных слов и выражений // *Русские местоимения: семантика и грамматика.* Владимир, 1989. С. 5–12; *Падучева Е.В., Крылов С.А.* Дейксис: общетеоретические и прагматические аспекты // *Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики.* М., 1984. С. 25–36.



- ⁸ См.: *Падучева Е.В.* Говорящий как наблюдатель: об одной возможности применения лингвистики в поэтике // Изв. АН. Сер. лит. и языка. 1993. Т. 52, № 3. С. 33–44.
- ⁹ См.: *Елина Е.А.* Указ. соч.; *Стернина И.А.* Указ. соч.
- ¹⁰ *Набоков В.В.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1990. Здесь и далее примеры приводятся по этому изданию.
- ¹¹ См.: *Бахтин М.М.* Указ. соч. С. 21.
- ¹² См.: *Золотова Г.А.* К вопросу о конститутивных единицах текста // Русский язык: Функционирование грамматических категорий. Текст и контекст. Виноградские чтения XII–XIII. М., 1984. С. 162–173; *Кравченко А.В.* Глагольный вид и картина мира // Изв. АН. Сер. лит. и языка. 1995. Т. 54, № 1. С. 49–64.
- ¹³ Такая функция широко признавалась только за несобственно-прямой речью.
- ¹⁴ *Кравченко А.В.* Указ. соч. С. 63.
- ¹⁵ *Кузнецов Д.В.* Грамматическая темпоральность в лингвоперсонологическом аспекте // Филологические науки. 2007. № 5. С. 51.
- ¹⁶ *Бахтин М.М.* Указ. соч. С. 103.
- ¹⁷ *Гачев Г.Д.* Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М., 1968. С. 97.
- ¹⁸ Там же. С. 98.
- ¹⁹ М.М. Бахтин считает, что в этом смысле прошлое и будущее противопоставлены как равноуровневые категории: прошлое – категория временная, будущее – смысловая, мыслимая, абсолютно субъективная, «не фабулическая, а смысловая непредопределенность» бытия (*Бахтин М.М.* Указ. соч. С. 104), а потому проспекция, элементы ее выражения в тексте могут дополнить дейктическое поле неопределенности.
- ²⁰ *Падучева Е.В.* Высказывание и его соотнесенность с действительностью (Референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985. С. 205.
- ²¹ *Ревзин И.И.* Некоторые средства выражения противопоставления по определенности в современном русском языке // Проблемы грамматического моделирования. М., 1973. С. 128.
- ²² *Падучева Е.В.* Указ. соч. С. 180.
- ²³ *Подлесская В.И.* К уточнению понятия «анафора» // Русские местоимения: семантика и грамматика. Владимир, 1969. С. 14.
- ²⁴ См.: *Майтинская К.Е.* Местоимения в языках разных систем. М., 1969.
- ²⁵ *Широнин И.* Язык и повествование (из наблюдений над акциональным кодом «Северной Симфонии» Андрея Белого) // <http://www.sujet.ru/publications/philology/bely/html>.
- ²⁶ См., напр., *Авдевина О.Ю.* Актуализация способов глагольного действия в произведениях современных писателей // Активные процессы в современной грамматике: Материалы междунар. конф. 19–20 июня 2008 г. М.; Ярославль, 2008. С. 4–9; *Авдевина О.Ю.* Участие грамматических единиц в формировании повествовательной структуры произведений современной русской прозы // Русский язык и культура в формировании единого социокультурного пространства России: Материалы I Конгресса РОПРЯЛ. Т. 2. СПб., 2008. С. 45–51; *Уфимцева О.А.* Именной и глагольный стили в синтаксисе XX века // Предложение и Слово: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2006. С. 111–117.

УДК 482-53

УТРАТА ПЕРВИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТАФОР

С.Б. Козинец

Педагогический институт Саратовского государственного университета,
кафедра начального языкового и литературного образования
E-mail: kozinec74@mail.ru

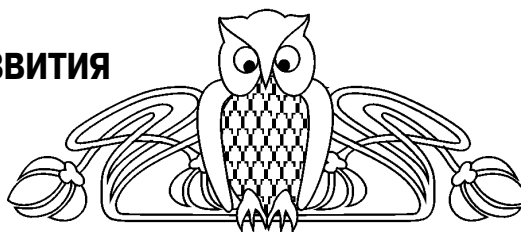
В статье рассматривается один из способов формирования словообразовательной метафоры в истории русского языка – утрата первичного значения производного слова. На основе анализа обширного материала устанавливаются причины исчезновения первичных значений, среди которых наиболее важными являются архаизация и изменение значения морфемы.

Ключевые слова: словообразовательная метафора, метафорическая мотивация, производное слово, архаизация первичного значения, аффиксальная декорреляция.

Loss of Derivative's Primary Meaning as a Factor in Development of Word-Formative Metaphors

S.B. Kozinets

The article considers one of the ways of formation of word-formative metaphor in the history of the Russian language – that of the loss of



primary meaning of derivative. Analysis of the vast material elucidates the reasons for the loss of primary meanings, the most important being the meaning becoming obsolete and the change in morpheme meaning.

Key words: word-formative metaphor, metaphoric motivation, derivative, primary meaning going obsolete, affix decorrelation.

Словообразовательными метафорами (иначе – производными с метафорической мотивацией¹) называются производные слова, соотносящиеся с прямым значением производящего, но трансформирующие его в метафорическое значение: змея – змеиться, сова – советь, сердце – сердцевина, нога – подножие, бросать – броский и др.²

Словообразовательная метафора (СМ) всегда рассматривалась с точки зрения семантических



связей ее с мотивирующим, т.е. на материале современного языка, в связи с чем выделялись различные степени мотивированности, или производности³. Но синхронный подход предполагает изучение результата, тогда как процесс становления словообразовательных метафор весьма своеобразен и прихотлив. СМ – явление разнородное по своему происхождению; она могла возникнуть: 1) в самом деривационном акте; 2) вследствие утраты первичного (прямого) значения производного; 3) СМ – результат словообразовательного или семантического калькирования⁴.

Многие словообразовательные метафоры исторически восходят к метафорам лексическим, т.е. их переносное значение исконно. Оно результат внутрисловной деривации: **быстротечный** ‘текущий, льющийся быстро’, **легковесный** ‘имеющий малый или недостаточный вес’, **веский** ‘имеющий много весу при малом объеме’⁵, **молокосос** ‘питающийся материнским молоком’⁶. В настоящее время эти значения считаются устаревшими или мыслятся как окказиональные (*молокосос*). В новых толковых словарях они вообще не фиксируются, однако они могут быть подвергнуты приему буквализации: «По чевенгурским дворам процветало множество *трав*» (А. Платонов).

В настоящей статье рассматриваются словообразовательные метафоры, которые возникли в результате утраты первичного значения производного. Утрата первичного значения слова происходила вследствие архаизации первичного значения и вследствие изменения значения морфемы (аффиксальная декорреляция).

Архаизация первичного значения производного слова

Архаизация первичного значения и развитие метафорической мотивации происходит по разным причинам.

Прежде всего оно утрачивается вместе с теми реалиями, которые были свойственны для определенного исторического периода: социальными явлениями, профессиями и др. Так, существительное **юбочник** утратило значение ‘портной, шьющий юбки’ (БАС) вместе с профессией, которое оно обозначало, теперь юбочником называют ‘любителя ухаживать за женщинами, бабника’: «Он ведет себя вполне по-дружески, не давая ей повода усомниться, что он зрелый человек, а не *юбочник*, ищущий развлечений» (Д. Каралис).

В словарях отсутствуют примеры употребления слова в прямом значении, однако в БАС фиксируется также производное **юбочница** и приводится контекст: «Обе были некогда *юбочницами* в мастерской» (О. Форш). По-видимому, утрате прямого значения способствовало также то, что пошивом юбок занимались в основном женщины.

Значение глагола **рабствовать** ‘быть рабом’ исчезло вместе с рабством как общественным

узаконенным явлением: «Георгий *рабствует*, Дмитрий обладает» (А. Сумароков), актуализировалось значение ‘вести себя угодливо, преклоняться’: «Уже смолodu в нем чувствуется сознание своего человеческого достоинства, не склонного *рабствовать* перед чужим умственным авторитетом или принижаться» (А. Кони).

Существительное **мешочник** ‘шьющий мешки, торгующий ими’ (В. Даль), означавшее достаточно узкую специализацию лица, также семантически переориентировалось после утраты соответствующего рода занятия. В настоящее время мешочником называют ‘человека, занимающегося скупкой, перевозкой вручную и продажей каких-н. товаров’, при этом чаще всего слово употребляется с негативной оценкой: «Мы <...> пришли к заключению, что от девальвации никто не пострадает, даже торговцы импортным товаром и *мешочники*» (А. Тарасов). Отрицательная оценка была унаследована от ныне исчезнувшего значения, актуального в годы Гражданской войны, – ‘человек, скупавший и перевозивший в голодные годы хлеб’⁸: «Если же мы рассмотрим данные о провозе хлеба *мешочниками*, – были недели, когда приходилось разрешать свободный провоз, – то окажется, что за те же три недели *мешочники* могут провезти не более 200 тысяч пудов» (Л. Каганович). Если говорить точнее, значение не исчезло, а расширило свое употребление, став обозначать вообще спекулянта.

Предмет мог не исчезнуть полностью, но потерять свою актуальность, выйти из моды: **вуалировать** ‘прикрывать, покрывать вуалью, скрывать от взоров’ (БАС). В настоящее время глагол имеет значение ‘намеренно делать неясным, затемнять суть чего-либо’: «Такт и воспитанность Людмилы Ильиничны искусно *вуалировали* этот маневр» (О. Волков).

Утрате значения ‘относящийся к первой статье, к первому разряду’ прилагательного **первостатейный** способствовало исчезновение такого сословия, как купцы: «Нашего товару не охает ни дворянин, ни купец *первостатейный*» (М. Погодин). В настоящее время прилагательное обозначает ‘превосходящий всех других себе подобных’ и ‘имеющий основное значение’: «Имелся в виду Иван Илларионович Голицын, *первостатейный* художник, товарищ и семьянин» (В. Пьецух).

Утрачено значение существительное **застрельщик** ‘солдат в рассыпном строю, который первый встречался с противником’ (БАС): «*Застрельщики*, скользя по сыпному щепню, взвалку побежали наверх» (Б. Лавренев). Затем семантика начала актуализироваться и стала основной: ныне существительное обозначает ‘того, кому принадлежит почин в каком-л. деле’: «Всего несколько лет назад Тамара Царик была активным *застрельщиком* в борьбе региональных банков против столичной экспансии» (С. Батутене).



Глагол **барствовать** сохранил только значение 'жить в роскоши, праздности; бездельничать': «Но и сами-то мы приучаемся шиковать, *барствовать* и бросаться деньгами» (Д. Фурманов), тогда как первичное значение 'жить баринком' (БАС) утратилось вместе с расслоением общества на классы: «За что их любить? Смолоду они щеголяют, *барствуют*, роскошничают у Борелей» (И. Гончаров). Развитию и закреплению переносного оценочного значения способствовало отрицательное отношение к правящим классам, утвердившееся после Октябрьской революции.

Прямое значение глагола **бичевать** 'наносить удары бичом, сечь': *Сеґчеть всех, веиаеть, бичують, клеимить* (СРЯ XVIII) ушло в пассивный запас после отмены подобного наказания. Его вытеснило переносное значение 'резко изобличать, подвергать суровой, жестокой критике' (БАС), возникшее не раньше конца XIX – начала XX в. в публицистической речи: «Это были популярные в то время трагедии в стихах из древней славянской и русской истории и комедии, *бичующие* общественные пороки» (Э. Кричевская). В настоящее время глагол также имеет книжное употребление.

Первичное значение утрачивалось также в результате «конкуренции» синонимов: оно замещалось: а) однокоренным словом с синонимичным формантом; б) словом аналогичной словообразовательной структуры; в) неоднокоренным словом с иной словообразовательной структурой.

Замена однокоренным словом с синонимичным формантом

Прямое значение слова могло исчезать, если производное имело однокорневой синоним с семантически более «нейтральным» аффиксом. Данный синоним и закреплял за собой прямое употребление, переводя другое производное в этом же значении в разряд архаизмов. В основном синонимичная замена происходила среди имен прилагательных: **блестящий** 'сверкающий' – **блистательный** 'издающий блеск, сверкающий, блестящий' (БАС): «И тамо, где металл *блистательный* сокрыт, там роет землю он глубокими корнями» (Ф. Тютчев) и 'яркий, выдающийся': «Его великолепный логический аппарат и *блистательное* умение формулировать» (Д. Рубина); **мелкий** 'небольшой по величине, объему' – **мелочный** 'мелкий по величине, объему, размерам' (СРЯ XVIII): «Хозяйка <...> могла избавить себя от хлопот за *мелочными* потребностями домоводства» (Н. Бестужев) и 'придающий значение пустякам, мелким, не имеющим значения фактам': «Не подумайте, будто краснопресненский руководитель *мелочно* следил за подчиненными» (Ю. Поляков); **царский** 'относ. к царю' – **царственный** 'то же, что царский (в 1 знач.)' (БАС): «Теперь гляжу я равнодушно / На трон его, на *царственную* власть» (А. Пушкин) и 'величественный, величавый': «Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна,

независима и *царственно* спокойна» (А. Куприн); **ремесленный** 'связанный с ремеслами' – **ремесленнический** 'к ремеслам и к ремесленникам относящийся' (Даль) и 'не творческий, шаблонный': «В этом воистину *ремесленническом*, бескамерном стиле кинохудожник продолжал работать до конца жизни» (С. Брэкидж); **машинный** 'относящийся к машине' – **машинальный** 'относящийся к машине' (СРЯ XVIII) и 'совершаемый непроизвольно в силу сложившегося навыка вести себя определенным образом': «Я *машинально* подсчитал, сколько осталось до четверга» (С. Довлатов).

Иногда прямое значение закреплялось за стилистически окрашенным производным. Прилагательные **механичный** и **механический** обозначали 'связанный с законами и явлениями механики': «На самом шпигере врать поставихомь палладу богиню всяких художеств свободныхъ и *механичныхъ*; При академии искуснаго мастера *механических* дел никогда не бывало» (СРЯ XVIII). Оба прилагательных развивают метафорическое значение 'производимый, действующий без участия сознания; машинальный': «Совершенно ошеломленные, мы *механически* оделись и вышли из клуба» (М. Зощенко); «Любовь была зла, повторяема, *механична*, пока смех не раздул ноздри, и он засмеялся» (Ю. Тынянов). В дальнейшем прямое, «техническое» значение закрепилось за формой с суффиксом **-ическ-**, так как этот морф широко используется при образовании слов книжного стиля, в том числе различных терминов: *технический, циклический, математический, хореографический, хронометрический* и др. Прилагательное **механичный** сохранило только качественное значение.

Синонимичной замене подвергались также производные глаголы, гораздо реже существительные.

Насытиться 'наесться досыта' – **пресытиться** 'насытиться сверх меры, в избытке' (БАС): «Он так *пресыщался*, что стол его обходился казне в день четырехста рублей» (Н. Лесков) и 'стать безразличным, равнодушным к чему-л.': «Европейская образованность других политических друзей наших еще слишком зелена, чтобы они были в силах *пресытиться* однообразным идеалом западной культуры» (К. Леонтьев). Некоторые современные толковые словари⁹ включают в словарную статью глагола *пресытиться* прямое значение без пометы «устаревшее», что, на наш взгляд, необоснованно. Оно ушло в пассивный запас и его современное употребление несколько претенциозно. Значение 'наесться досыта' передается глаголами *насытиться* и *наестся*.

Расцветать 'давать цветки, распускаться' – **процветать** 'расцветать, распускаться, цвести' (БАС): «В краю поэзии, где *процветал* когда-то / Зеленый лавр и мирт великого певца» (П. Вяземский) и 'успешно развиваться, находиться в состоянии подъема': «И при Сатиных, а потом и при Рахманинове усадьба в Ивановке *процветала*,



была ухоженной, разумно распланированной» (И. Архипова).

Охладить 'сделать холодным, остудить' – **расхолодить** 'говоря о горячей воде или тому подобном: через примесь холодной воды простуживать'¹⁰ и 'заставить относиться более холодно, равнодушно к кому-, чему-либо, ослабить силу и живость чувств': «Как ни воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно *расхолодил* их» (М. Салтыков–Щедрин).

Занавеска 'полотнище, отрезок ткани для завешивания или отгораживания чего-л.' – **завеса** 'большая занавеска; кусок ткани, висящий и закрывающий что-л.' (БАС): «Тяжелая, негнувшая шелковая *завеса* мерно падала с петли и закрывала свет» (И. Гончаров) и 'то, что скрывает, закрывает собой что-либо': «Я вдруг вспомнил, зачем сюда пришел, выдвинул ящик стола, нашел кристаллофон с записью ируканских боевых маршей и аккуратно подвесил его к мочке правого уха. Звуковая *завеса*, сказал я себе в последний раз» (Бр. Стругацкие).

Если прямое и переносное значение слова соотносились с различными значениями производящего, а производное имело параллельное образование, это часто влекло «за собой мотивацию подобных производных разными лексико-семантическими вариантами производящего»¹¹. Так, прилагательное **зверский** обозначало 'относящийся к зверю': «Питаются <чайки> рыбою, также всяким мертвым мясом *зверским* и скотским» и 'жестокий, свирепый' (СРЯ XVIII): «Случай к тому подал неистовый и беспутный или, лучше сказать, *зверский* поступок одного из его сыновей» (А. Радищев). Соответственно значения производного соотносились с разными значениями существительного **зверь** – 'дикое животное' и 'жестокий, свирепый человек'. Параллельно со словом *зверский* – в этих же значениях – употреблялось производное **зверинный**. Такой «двойной» параллелизм – прямых и переносных значений двух производных привел к тому, что прилагательное *зверский* утратило прямое употребление. Приоритет суффикса **-ин-** в выражении прямого и переносного значений объясняется тем, что именно он являлся одним из основных формантов (наряду с суффиксами **-ий** и **-ов-**), образующих относительные прилагательные от названий животных.

Прилагательные, образованные от названий животных с помощью суффикса **-ск-**, в настоящее время имеют только оценочное метафорическое значение: **попугайский** 'такой, как у попугая', **свинский** 'непорядочный, подлый', **скотский** 'грубый, низменный'. Исключение составляет слово **конский**, имеющее прямое значение.

Прилагательное **злачный** 'обильный злаками': *и агньци на злачней траве почиваху* (СРЯ XVIII) утратило свое значение во второй половине XIX в. В.В. Виноградов отмечает, что «слово “злачный” применялось в неопределенном переносном значении у многих поэтов первой четверти XIX в.

Например, в поэме Духовского «Ослепленный» (1825): «Я видел тент и *злачный* лес»¹². Ученый указывает, что новое, переносное употребление слова с ироническим оттенком возникло в языке разночинцев. Первоначально оно употреблялось в составе фразеологизма *злачное место* 'место, где кутят и развратничают'. Затем его сочетаемость расширилась за счет других существительных с пространственной семантикой: «в *злачном* районе на канале Ахтербург» (Е. Малик); «гулять по ночам по *злачным* кварталам» (В. Абаринов); «*злачные* заведения города» (А. Тарасов); «...по Ленинградскому шоссе и прочим *злачным* магистральям» (А. Слаповский); «по всем *злачным* московским дырам» (В. Спектр).

Прямое значение в настоящее время реализуется в слове **злаковый** 'прил. к злаки', но имеет специальное употребление: *злаковые растения, злаковые культуры, злаковые степи*.

Утратившиеся прямые значения некоторых прилагательных стали передаваться причастиями: **непотребный** 'такой, в котором нет никакой надобности' (БАС): «И время дни иного косит, / Как *непотребную* траву» (П. Вяземский) – **не употребляющийся** и 'очень плохой, скверный // неприличный, непристойный': «Знал черный рынок и все *непотребные* места» (С. Довлатов); **продувной** 'сквозной, тонкий, легко продуваемый': «Приют прохлады в летний зной, / Нады полог *продувной*» (А. Языков) – **продуваемый** и 'хитрый, плутоватый': «Но самой удивительной была ее *продувная* физиономия, ну точно – маска Арлекина» (Д. Рубина). В БАС разные значения слова *продувной* даются уже как омонимы; **проницательный** 'способный проникать куда-либо': «А за сими выступали двое, несущие на древках земной шар, от половины которого и до другой сделан был круг из звезд *проницательного* и блестящего камня на шаре» (М. Чулков) – **проницаемый** и 'быстро и верно разгадывающий, понимающий сущность кого-, чего-л.': «Я не был в этом уверен, но не пронзая же мне было его *проницательным* взглядом, и я понесся дальше» (Бр. Стругацкие).

Синонимическая замена произошла также в словах **мертвенный** 'подверженный смерти, смертный': «Павел святой некие неизреченныя доброты будующия подасть намъ: нетление, славу, силу, ... но яко толико измену получат, что далече разиствовать будут от *мертвеннаго* ненешнаго состава своего» (СРЯ XVIII) – **смертный** и 'такой, как у мертвеца, безжизненный': «Старуха с трясущейся челюстью, *мертвенными* глазами и почему-то говорящая со своей спутницей по-французски» (М. Булгаков).

Замена словом аналогичной словообразовательной структуры

Первичное значение могло вытесняться производным аналогичной словообразовательной



структуры, содержащим более нейтральный корень: **бесхребетный** 'не имеющий хребта' (БАС) – **беспозвоночный** 'не имеющий позвоночника'. Прилагательное **бесхребетный** стало обозначать 'беспринципного человека, не имеющего твердого характера': «Мое поколение выросло *бесхребетным* – это все произошло из-за перемены времени» (А. Братерский). **Охладеть** 'сделаться холодным, остыть' (БАС): «Котлы давно успели *охладеть*» (А. Куприн) – **остыть** 'утратив тепло, стать холодным'. Глагол *охладеть* употребляется в современном языке в значении 'стать равнодушным, потерять прежнюю живость чувств, утратить интерес к кому-, чему-либо': «Услышав эту историю, я быстро *охладел* к Тае» (Ю. Поляков).

Прямое значение производного могло вытесняться синонимом, с другим корнем и словообразовательной структурой.

Слово **поветрие** в древнерусском языке имело следующие значения: 1) 'попутный ветер', 2) 'наветренная сторона', 3) 'воздух', 4) 'эпидемия, мор' (СРЯ XI–XVII). В «Словаре Академии Российской» фиксируется уже только одно значение – 'заразительный воздух, причиняющий повальные болезни скоту или людям': «*Поветрия* на людей хотя по большей части в южных пределах здешнего государства случаются, однако всякие способы против того употребляться должны» (М. Ломоносов).

По наблюдениям В.В. Виноградова, «на основе этого значения развилось к середине XIX в. переносное, носившее резкий отпечаток неодобрения 'модное течение, модное пристрастие к чему-нибудь, носящийся в воздухе и вызывающий временное общественное увлечение образ мыслей'¹³: «Поддавшись общему *поветрию*, я решил приобрести себе собственный транспорт» (Ф. Искандер). Переносное значение слова быстро вытеснило прямое, которое стало обозначаться иноязычным заимствованием **эпидемия**.

Прилагательное **пылкий** 'быстро воспламеняющийся, ярко горящий': «Утро было морозно, солнце катилось по синеве *пылко* и лучезарно» (А. Бестужев-Марлинский) к первой половине XX в. полностью утратило прямое значение (в БАС оно дается с пометой «устар. и обл.»), оно заменилось словом **горючий**. Первичным стало значение 'страстный, горячий': «Но временами он с трудом мог совладать со своею *пылкой*, ревнивой натурой» (В. Отрошенко).

Сходные семантические изменения наблюдаются у однокоренных прилагательных **веский** 'имеющий много весу при малом объеме' (БАС): «Так не один свершал он поворот, / Иль крылья вдруг поджав, как камень *веский*, бросался вниз» (А.К. Толстой), возникшего не ранее XVII в., и **весомый** 'имеющий вес, обладающий весом' (БАС), появившегося гораздо позже: «Самгин, сквозь стекло в двери кареты, смотрел во тьму и она казалась материальной, *веской*» (М. Горький).

У обоих прилагательных развивается переносное значение 'серьезный, убедительный, значительный': «В это трудно поверить, требуются *веские* доказательства, опрос свидетелей, показания очевидцев» (Л. Улицкая); «Выяснение причины возникновения магнитного поля планет и Солнца может оказаться магнитным доказательством существования эфира и его деформации» (В. Ахияров). Первичное значение утрачивается, поскольку более «конкурентоспособным» оказывается слово **тяжелый**, называвшее признак напрямую и не имевшее книжной окраски.

В некоторых современных толковых словарях¹⁴ у прилагательного *весомый* фиксируется прямое значение 'ощутимый по весу; достаточно тяжелый', что, на наш взгляд, малоубедительно: во-первых, данные словари не приводят примеров употребления этого значения, во-вторых, мы не обнаружили подобных примеров ни в одном текстовом источнике XX в.

Исконное значение прилагательного **неусыпный** – 'не спящий, бодрствующий': «Может ли *неусыпной* пастух лютому волку любимую свою овечку на жертву приносить?» (СРЯ XVIII) в современном языке передается причастием **бодрствующий**. Основным стало метафорическое значение 'постоянно проявляемый, неослабный': «Жизнь требовала изобретательности изощренной и *неусыпной*» (А. Чудаков).

В некоторых случаях первичное значение развивалось в сторону расширения семантики. Со временем более узкое первичное значение оказывалось неактуальным и уступало место вторичному.

У глаголов расширялось денотативное пространство, т.е. круг объектов, на которые распространялось действие. В этом случае основной объект – ономаσιологический базис, мотиватор не только становится всего лишь одним из ряда объектов, но может вообще перейти в разряд имплицитных. Так произошло с глаголом **гвоздить** 'прибивать гвоздями' (В. Даль); 'вбивать гвозди' (СРЯ XVIII). Действие «бить» стало распространяться не только на любой конкретный предмет: «Возьмет хороший сорокакилограммовый молот и начнет *гвоздить* им по *кольцу*» (Г. Адамов); «Танки генерала Грачева *гвоздили* по *Дому Советов*» (А. Проханов), но и на одушевленный объект: «Беспощадно и резко *гвоздил* он врага боевой секирой, всегда наповал» (П. Алешковский). Значение 'прибивать гвоздями' при этом полностью утратилось.

Глагол **искоренить** имел значение 'вырвать с корнем': «И ногты стрьгаша по семь оусекоша оубе роуце ея, по семь нозе, *искорениши* и зоубы» (СРЯ XI–XVII). На основе семы 'уничтожать' развилось метафорическое значение 'полностью устранить, уничтожить, истребить': «памят имат подвизати всю силоу вражию въ срдци. и память имат ю победити и *искоренити* по части» (СРЯ XI–XVII). Семантика уничтожения стала основ-



ной в переносном значении, которое обозначало действие, направленное на отвлеченный объект: «С принятием христианства языческая символика и обряды были запрещены, но не *искоренены* полностью» (Н. Феоктистова). К концу XIX в. первичное значение полностью утратилось, оно стало передаваться соответствующим сочетанием *вырвать с корнем*.

Во всех рассмотренных случаях важным сопутствующим фактором утраты первичного значения являлось возрастающая частотность употребления переносного значения. В некоторых случаях этот фактор выступает в качестве основной причины архаизации исходного значения. Метафорический ЛСВ становился более актуальным и отодвигал на второй план базовое значение. При этом утверждавшаяся метафора меняла стилевой регистр слова – либо в сторону книжной, либо – разговорно-бытовой лексики.

Например, значение существительного **живоглот** отчасти выводилось из его словообразовательной структуры – ‘хищник, проглатывающий добычу в живом состоянии’: «Сом, с большим усом, да *живоглот* щука» (В. Даль). Это слово могло употребляться и по отношению к человеку: «Гришка поймал из воды пескарика и проглотил живого, а Денис и сказал ему: “Ишь ты, *живоглот!*”» (И. Шмелев). В словаре В.И. Даля впервые фиксируется переносный оттенок ‘корыстный, хапала, обидчик, взяточник, грабитель’. В (БАС) представлены прямое и отеночное значение слова, однако в словаре под ред. Д.Н. Ушакова фиксируется только метафорическое значение – ‘эксплуататор, мироед, кулак’, т.е. прямое употребление слова уже тогда осознавалось как неактуальное. При этом на первое место выдвигалась классовая оценка: «Бери! Не стесняйся! Чего там! / Бог вспомнил про нас, бедняков. / Была тут на днях *живоглотам* / Ревизия их сундуков» (Д. Бедный). Со временем классовая оценка из значения выветрилась, осталась только общая негативная оценка: ‘беспощадный и жестокий человек, притесняющий других, навивающийся за их счет’: «Одно жалею, – говорил он, – не я ему, *живоглоту* любимому, гроб делал» (Г. Владимов). Перейдя в разряд СМ, слово приобрело стилистически сниженную окраску – оно дается в словарях с пометами «просторечное», «разговорно-сниженное».

Прилагательное **животрепецущий** возникло в профессиональной среде, служило определением к слову рыба и имело вполне конкретное значение ‘бьющийся и подпрыгивающий, трепыхающийся (о живой рыбе, извлеченной из воды и еще не заснувшей)¹⁵: «Повсюду на треногах варили рыбаки уху, все из ершей да из *животрепецущих* рыб» (Н. Гоголь). В.В. Виноградов отмечает, что «в этом значении слово употреблялось в языке рыбных торговцев вплоть до революции». Метафорическое значение слова ‘живой, затрагивающий острые и важные сторо-

ны современности; злободневный, актуальный’, по мнению ученого, возникло в первой четверти XIX в. из-за необходимости точной передачи переносно-общественного смысла французского слова *palpitant*. Его употребление изначально носило книжный характер, поэтому в настоящее время прилагательное *животрепецущий* имеет оттенок книжности: «Но таков, к сожалению, наш менталитет: только сиюминутное, *животрепецущее*, становится предметом внимания общественности» (А. Митьков).

В XIX в. у слова развивается также значение ‘шаткий, колеблющийся, находящийся в постоянном движении’: «Как большинство всех дачных построек, это был *животрепецущий* домик с дощатыми переборками» (Н. Лесков), однако оно вскоре исчезло из употребления, поскольку «гораздо более живой силы и семантического притяжения обнаружило то значение слова, которое было открыто В.Ф. Одоевским»¹⁶.

Исконное значение прилагательного **двуликий**¹⁷ – ‘имеющий два лица’ (БАС). Это значение, судя по данным словарей¹⁸, употреблялось только в сочетании *двуликий Янус* – древнеримское божество времени, изображаемого с двумя лицами, с юношеским и старческим, обращенными в противоположные стороны, т.е. оно изначально было фразеологически связанным. Однако двуликими раньше назывались также куклы, у которых было два лица: «Игрушка *двуликая*, спереди – мальчик-подмастерье, а сзади – зрелый мастер с бородой, так как кузнец никогда не сбрасывал бороду» (И. Агаева).

На его основе образовались метафорические значения ‘закрывающий в себе два противоречивых свойства, начала’: «*Двуликая* конкуренция обернулась ласковой стороной – западные продавцы боролись за «ВымпелКом» – покупателя» (Г. Горелик) и ‘лицемерный’: «Ненавижу вас, проклятые *двуликие* животные!» (Ю. Герман). Часто эти значения совмещаются: «И ему нравилось быть *двуликим* – в нем жил и ведущий советский литературовед Андрей Синявский, и потаенный, издаваемый осквернитель святынь Абрашка Терц» (Н. Воронель). Более употребительным в настоящее время является первое метафорическое значение.

Значение прилагательного **молниеносный** полностью раскрывалось через его внутреннюю форму – ‘несущий, содержащий в себе молнию’ (СРЯ XVIII): «Как сонм неподвижных гигантов представлялись, / Которых опалил *молниеносный* гром» (В. Капнист). Это значение закрепилось в поэтической речи, в словарях оно отражалось с пометой «трад.-поэт.»: «*Молниеносной* тучи глыба перевалила за леса» (Я. Полонский). Более актуальным оказалось переносное значение ‘стремительный, мгновенный’, появившееся не позднее XVIII в.: «Ее последняя речь / Пронзила сердце, как *молниеносный* меч» (П. Плавильщиков).



Возникшее в древнерусскую эпоху значение ‘пронзительный, грозный’ (СРЯ XI–XVII) не закрепились в языке – словарь (СРЯ XVIII) его не фиксирует.

Исконное значение глагола **окрылить** – ‘давать крылья’ (В. Даль). Глагол относился к словообразовательному типу ‘наделить тем, что названо мотивирующим существительным’ (*остеклить, обилетить, озаглавить*). В «Словаре Академии Российской» зафиксировано также значение ‘покрывать, ограждать, осенять крыльями’: «Избави насъ, молимъ тя неизреченного твоею милостию, Владычице, люди твоя, и *окрыляющи* защиты».

В древнерусском языке соотносительный с ним глагол **окрылатети** (в современном языке он принял возвратную форму *окрылиться*) имел, помимо прямого – ‘приобрести крылья, стать крылатым’, метафорическое значение ‘воодушевиться, почувствовать прилив сил’: «Достоить ны радоватися и веселитися, и *окрылатети* сладостию» (СРЯ XI–XVII). Метафорическое значение, переводящее глагол в ЛСГ психического воздействия, было усвоено и глаголом *окрылить* – ‘привести в состояние душевного подъема’: «Из леса я вышел *окрылённый* психическим здоровьем нации и надеждами на следующие выходные» (И. Охлобыстин), которое вытеснило исходное значение, ставшее в середине XIX в. неактуальным.

Сложные существительные **блюдолиз** и **лизоблюд**, образованные от одинаковых основ, но с разной позицией глагольной и именной частей имели одинаковое значение: *блюдолиз* ‘тот, кто любит поживиться за чужой счет; прихлебатель’: «А все-то *блюдолизы* римские устроили съ Никономъ врагомъ гонение на христианъ» (СРЯ XI–XVII); *лизоблюд* ‘охотник до чужих обедов’. При этом вариант *лизоблюд* возник не ранее первой половины XIX в.: впервые он зафиксирован в «Словаре Академии Российской».

В настоящее время оба слова имеют значение ‘человек, который прислуживается к кому-л., подхалим’: «Были при Арканарском дворе и поэты, в большинстве *блюдолизы* и *льстецы*» (Бр. Стругацкие); «Старшина Хутяков, опытный подхалим и *лизоблюд* еще кадровой закалки, сразу усек, что офицерство пренебрегло новым взводным» (В. Астафьев).

Слово *блюдолиз*, несмотря на то что образовано по более продуктивной модели словосложения – с именной частью в первой основе, менее употребительное, оно фиксируется не всеми словарями, например, отсутствует в словаре Ожегова–Шведовой. По-видимому, для сознания носителей языка важным оказалось выделение именно глагольной основы *лизать*, ассоциирующейся с прислужничеством, угодничеством. Ср.: **лизать пятки (ноги, руки)** – ‘пресмыкаться, унижаться перед кем-л., подхалимствуя’.

Существительное **подножие** изначально имело значение ‘пространство у ног, под ногами; то, куда ставят ноги, на что преклоняют колени’: «Положу врагы твоя *подножию* ногама твоима»¹⁹, но уже в древнерусском языке развивается ЛСВ ‘подставка, основание чего-л. возвышающегося’: «А какъ венчаются, на *подножие* положить пара соболей» (СРЯ XI–XVII). В дальнейшем семантика производного расширяется: появляется значение ‘место у самого низа, основания чего-л.’: «Мне запомнилось, как он стоял у *подножия* холма, на котором возвышается Успенский собор» (И. Архипова).

Оно становится наиболее употребительным, основным. Актуализация семы ‘основание’ происходила параллельно с затушевыванием семы ‘под ногами’, которая перешла в разряд имплицитных.

Аналогично развивалась семантика существительного **преддверие**, первоначально употреблявшееся в значении ‘место перед дверьми, перед входом (сени, крыльцо, порог)’ (СРЯ XI–XVII): «В *преддверии* моем я слышу стук и треск / Пришли минуты злы, короны тьмится блеск» (А. Сумароков). В древнерусскую эпоху у него развивается и отвлеченное – временное – значение ‘начало чего-л.’ В настоящее время именно это значение является основным: «В *преддверии* выборов уже началась борьба за голоса верующих избирателей» (И. Пылаев).

Возросшая частотность употребления метафорических значений была также причиной утраты исходных значений производных **медоточивый** ‘сладкоречивый, льстивый, слащавый’ (← ‘содержащий мед’: «Плоды представились и яства *медоточны*, / каких не ведают во днесь страны восточны», М. Херасков); **искрометный** ‘яркий, сверкающий’ (← ‘мечущий искры, искрящийся’: «Но сам погиб – сгорел в неравной схватке, как *искрометный* метеор», И. Бунин); **обуревать** ‘охватывать с большой силой’ (← ‘подвергаться действию непогоды, природных стихий’: «Корабль *обуреваются*, но погружень не бывает»); **корениться** ‘иметь что-либо своим источником, причиной; происходить от чего-либо’ (← ‘пускать корни в землю’: «И тинистое дно, где зелья *коренятся*, и гады черные во мраке шевелятся», В. Бенедиктов); **афишировать** ‘выставлять напоказ, подчеркивать своим поведением’ (← ‘объявлять в афише’: «Партер никакого не имеет права требовать того танца, который не был *афиширован*», Д. Фонвизин); **зажимистый** ‘скуповатый, прижимистый’ (← ‘способный крепко сжать, не выпустить захваченного’: «Кулак *зажимист* у него», В. Даль);

Прямые значения этих слов исчезали полностью – без синонимического замещения, поскольку в большинстве случаев они имели ограниченную сочетаемость – с одним-двумя словами, и вследствие этого обозначаемая им характеристика предметов и явлений была, по существу, избыточной.



Аффиксальная декорреляция производного слова

Аффиксальная декорреляция – это изменение значения форманта или значения словообразовательного типа. Словообразовательный тип, как и любая языковая единица, – явление динамическое. Он может как расширяться, так и сужать объем мотивирующих слов. Расширение/сужение объема происходит не только в количественном, но и в качественном плане – меняется лексический состав производящих основ, смысловое соотношение между производным и производящим.

Изменения значения формантов наблюдаем прежде всего в производных глаголах.

Так, глаголы *огреть* и *взгреть* обозначали ‘сделать теплым, нагреть’ и ‘разогреть’ соответственно: «И се на лица пустыни аки семя бело и аки ледъ на земли... идеже *огрешше* солнце, растаяше»; «Всякие суды, ковши и братини, воды *взгревь* изутра, избу затопивъ, перемыти и вытерти». Эти значения фиксируются еще в БАС без каких бы то ни было помет. Однако уже в Словаре под редакцией Д.Н. Ушакова слово *взгреть* дается как словообразовательная метафора – ‘отколотить, побить; выругать’: «*Взгреют*, конечно, за каждый лишний денёк, будь готов!» (О. Павлов), а прямое значение глагола *огреть* ‘обогреть’ дано с пометой «областное». Причем именно в этом словаре впервые фиксируется переносное значение глагола *взгреть*, тогда как значение ‘ударить’ глагола *огреть* существовало уже в старорусском языке: «Пришел Давид, почел ерша давить; пришел Андрей да ерша *агрел*» (СРЯ XI–XVII). Форманты **о-** и **вз-** какое-то время конкурируют с другими префиксами, имеющими подобное значение – *раз-*, *на-*, *подо-* (*разогреть*, *нагреть*, *подогреть*), но в итоге конкуренции не выдерживают, поскольку в процессе языковой эволюции за ними закрепляются другие значения.

Глагол *всадить* имел значение ‘поместить, заключить куда-л.; посадить’: «Изяславъ же... дружину его исковавъ расточи, а Ростислава *всади* въ лодью»²⁰, т.е. он относился к словообразовательному типу со значением ‘переместить предмет внутрь пространства’. В XVII в. появляется значение ‘с силой воткнуть, вонзить’: «...да *всадилъ* бы я свое булатное копьё въ твое товожаное ратовище и утешилъ бы я, молодець, свою мысль молодецкую» (СРЯ XI–XVII). В этом ЛСВ глагол реализует значение словообразовательного типа ‘перемещение предмета в среду другого предмета’ (*вогнать*, *воткнуть*, *вколоть*, *впрыснуть*). Вторичное значение закрепляется в дальнейшем как основное – в Словаре под редакцией Д.Н. Ушакова фиксируется только оно, а семантику перемещения внутрь пространства выражает приставка **по-**.

В рассмотренных примерах мы наблюдаем случаи семантического опрошения, поскольку в современном языке связь между производным и производящим в словообразовательных парах

греть – *огреть*, *греть* – *взгреть* и *садить* – *всадить* ощущается прежде всего на формальном уровне. Установление смысловой связи возможно только с помощью специального семантического анализа.

Глагол *избегать* имел два значения ‘уходить, убежать’: «Глагола рабыня: сквернаве да не внидеши въ домъ, ибо *избегнутъ* вси вонь» и ‘уклоняться // спасаться, уберечься’ (СДРЯ XI–XIV): «По несчастию его, и в статской службе не *избегнул* того, что оставляя военную, удалиться хотел» (А.Н. Радищев). Дело в том, что в древнерусском языке приставка **изъ-** в сочетании с глаголами движения обозначала ‘направленность движения от чего-то’ или ‘направленность движения изнутри’: *излезти* ‘выйти, уйти откуда-л.’, *изъехати* ‘выехать, уехать’, *изходити* ‘выходить, уходить откуда-л.’, *изтекати* ‘вытекать’, *излетети* ‘вылететь, улететь’ (СДРЯ XI–XIV). Впоследствии эти значения закрепились соответственно за приставками **у-** (*убежать*, *улететь*, *уйти*, *уплыть*) и **вы-** (*выбежать*, *вылететь*, *выйти*, *выплыть*), а приставка **из-** стала обозначать ‘удаление предмета’. В «Словаре Академии Российской» у глагола *избегать* фиксируется только значение ‘уклоняться от чего-л. // сторониться’.

У глагола *казниться* ‘страд. к казнить’: «Змеи того ради смертию *казняются*, яко да техъ наказаниемъ прочии въ чувство придуть и исправятся» (СРЯ XI–XVII) страдательное значение постфикса **-ся** меняется на собственно-возвратное ‘испытывать нравственные страдания, терзаться, сознавая свою вину и раскаиваясь’: «Пред Аничкой своей *казнился*, убивался, мысленно из Новгорода к ней на коленях полз, тувельки ее целовал» (Б. Васильев). Страдательное значение в настоящее время выражается формой страдательного причастия: «Да, злодеи *казнены*, злодеи осуждены, однако “вторые Рылеевы” зовут к топору» (Ю. Давыдов).

В некоторых случаях формант закреплялся за производными определенного типа, остальные производные либо утрачивались, либо сохранялись с переносным значением. Например, отглагольные прилагательные с суффиксом **-лив-** обозначают ‘склонный к действию, названному мотивирующим словом’: *пугливый*, *болтливый*, *ворчливый* и др. Значение прилагательного **щекотливый** ‘боящийся щекотки’ не отвечало семантике типа, поскольку обозначало как раз **не склонного** к действию, во-первых, а во-вторых, само действие в этом случае направлено на субъекта: «Приказный был заведомо необыкновенно *щекотлив*, до того, что с ним делались судороги, если его кто-нибудь из товарищей хватал для смеха за колено» (Н. Лесков). Вследствие этого прилагательное сохранилось в значении ‘требующий большой осмотрительности’: «Американцы страшно не любят оказываться в *щекотливых*, двойственных, неловких положениях» (С. Довлатов).



Значение словообразовательного типа прилагательных с суффиксом *-ист-* – ‘характеризующийся отношением к тому, что названо мотивирующим словом’. В нем выделяются два семантических подтипа: 1) ‘обладающий тем, что названо мотивирующим словом’: *льдистый, слоистый, тенистый, морщинистый, сахаристый, глинистый* и 2) ‘имеющий свойства того, что названо мотивирующим словом’: *змеистый, творожистый, пружинистый, бархатистый, ершистый*²¹.

До первой половины XIX в. первый семантический подтип включал также множество прилагательных, образованных от названий животных: *змеистый, муравьиный, рыбистый, пчелистый, зайчистый*, ‘обильный змеями (муравьями, рыбами и под)’. Однако во второй половине XIX в. «в значительной степени меняется лексический состав слов этой группы – в результате изменений словообразовательных связей суффикса. Уходит из употребления группа прилагательных, произведенных от существительных – названий живых существ»²². Из отзооморфных образований в современном русском языке сохранились только два – в переносном значении – **ершистый** ‘неуступчивый, обидчивый, колючий’: «Уж не знаю, право, как и быть, – жаловалась Варвара, – ершистый такой стал, что просто страх» (Ф. Сологуб) и **змеистый** ‘напоминающий движущуюся змею, извилистый’: «Навстречу машине бежала и бежала позёмка дымными змеистыми струями» (Б. Екимов), т.е. они «перекочевали» из первого подтипа во второй.

Существительные с суффиксом *-ств(о)* мотивируются существительными и прилагательными (прилагательное выступает как формальный мотиватор, а опосредованно они также мотивируются существительными) и обозначают ‘свойство или занятие лица’²³: *лихоимство, невежество, геройство, чудачество, барство, чудачество* и под. Причем уже в XIX в. «в системе существительных данный формант стремится ограничить сферу своего функционирования пределами основ существительных со значением лица»²⁴. Небольшую группу составляют имена, образованные от названий животных: *зверство, скотство, хищничество, свинство*. Некоторые из них изначально имели значение ‘свойство животного, названного в производящей основе’: **хищничество** ‘свойство хищника’: «Они [дикие коты] живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах» (Н. Гоголь); **зверство** ‘свойство зверя’: «Модстрихи бы тотъ часъ взявъ въ помощь суеверство и человечество преобратили въ зверство» (СРЯ XI–XVII).

Однако этот тип оказался непродуктивным, поэтому на первый план стали выдвигаться переносные значения отзоонимных имен: «К ней лютым зверством обуянна, / Защиты обнажила меч» (В. Капнист); «Образ жизни итальянский, то есть весьма много свинства (Д. Фонвизин), которые

вытесняют первичные значения и становятся единственными».

Семантические изменения совсем иного типа наблюдаем в производных **ребячество** и **школьничество**, которые также относились к словообразовательному типу ‘свойство или занятие лица’ и имели значения ‘детский возраст, детство’ и ‘школьный возраст’ (СРЯ XVIII) соответственно: «Расскажу тебе сказку, которую в *ребячестве* мне рассказывала старая калмычка» (А. Пушкин); «Тридцать лет! Половина жизни. Двенадцать лет ребячества, четыре *школьничества*, шесть юности» (А. Герцен). Затем у существительных развились процессуальные значения оценочного характера: ‘поведение, поступки, свойственные детям’ и ‘несерьезное поведение, свойственное школьнику’: «Тут решительно одно только *школьничество* – глупое, скверное, за которое следует строжайше наказать» (Ф. Достоевский); «Я направился к выходу, уговаривал себя не оглядываться – в конце концов, что за *ребячество!*» (Б. Акунин). В своих прямых значениях существительные были вытеснены словами **детство** и **ученичество**, а переносные значения стали соотноситься с глаголами **ребячиться** ‘вести себя по-детски, шаловливо, несерьезно’ и **школьничать** ‘вести себя так, как это свойственно школьнику’. Таким образом, в данных производных не только произошла суффиксальная декорреляция (качественное значение суффикса **-еств(о)** поменялось на процессуальное), но изменилось направление мотивации: непосредственно существительные мотивируются глаголами (*ребячиться* → *ребячество*, *школьничать* → *школьничество*), а опосредованно – существительными, что находит отражение в толковании лексического значения.

Существительное **проходимец** обозначает в современном языке ‘мошенник, негодяй, прохвост’: «Как ты на это смотришь, не продать ли наш дом этому типу, он наверняка подлец и *проходимец*, какой-нибудь прораб или завхоз» (С. Соколов). До начала XX в. основным значением слова было ‘прохожий’, в БАС оно дается с пометой «устар. и обл.»: «Случайно зашедшие в деревню или вступившие в беседу прохожие, *проходимцы*, путешественники» (А. Грандильевский). Однако производные с суффиксом **-енец**, мотивированные прилагательными и страдательными причастиями, стали обозначать ‘лицо по характерному качеству или действию’, т.е. в их значении обязательно присутствует оценочность. Прямое значение существительного *проходимец* не соответствовало семантике типа, поэтому оно было вытеснено переносным ЛСВ.

Таким образом, архаизация первичного значения приводит не только к вытеснению переносного значения прямым, но и установлению новых мотивационных отношений между производным и производящим – метафорических. Степень образности метафорического значения обуславливает характер смысловой связи между



словами, которая в некоторых случаях достаточно прозрачна (*щекотать – щекотливый, змея – змеистый*), но иногда почти не ощущается (*греть – взгреть, садить – всадить*). Слабая связь между производным и производящим приводит к семантическому опрощению, и только четко осознаваемая расчлененность структуры производного позволяет сохранять в языковом сознании его структурно-смысловую связь с производящим.

Примечания

- 1 См.: *Лопатин В.В.* Метафорическая мотивация в русском словообразовании // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1975. С. 53–57.
- 2 См.: *Козинец С.Б.* Словообразовательная метафора: пересечение лексической и словообразовательной систем // Филологические науки. 2007. № 2. С. 61–70.
- 3 См.: *Ермакова О.П., Земская Е.А.* К уточнению отношений словообразовательной производности // Russian Linguistik. 1991. Вып. 15. С. 105–116; *Улукханов И.С.* О степенях словообразовательной мотивированности слов // Вопр. языкознания. 1992. № 5. С. 74–89; *Ширшов И.А.* Типы словообразовательной мотивированности // Филологические науки. 1995. № 1. С. 41–54.
- 4 Подр. см.: *Козинец С.Б.* Диахронический подход к изучению словообразовательной метафоры // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. Владикавказ, 2007. Вып. 9. С. 243–245.
- 5 Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л., 1950–1964.
- 6 Словарь русского языка XVIII в. Л., 1984–2003. Вып. 1–20.
- 7 Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–2002. Вып. 1–26.
- 8 Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. Т. 1–4. М., 2001.
- 9 Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 2006.
- 10 Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. СПб., 1806–1822. Ч. 1–6.

- 11 *Азарх Ю.С.* Об актуальной и исторической производности слова // Восточные славяне: Языки. История. Культура. М., 1985. С. 152.
- 12 *Виноградов В.В.* История слов. М., 1999. С. 901.
- 13 *Виноградов В.В.* Указ. соч. С. 84.
- 14 См.: *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 2006; Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 2006.
- 15 См.: *Виноградов В.В.* Указ. соч. С. 158.
- 16 Там же. С. 161.
- 17 Характерно, что слово *двуличный* не употреблялось в прямом значении – ‘имеющий два лица’. «Словарь Академии Российской» фиксирует следующее значение: ‘говорится о тканях, по причине тона иноцветного в рассуждении основы производящих два цвета» лицемерный, неискренний’. В Словаре В.И. Даля фиксируется это же значение – ‘о ткани: с переливом, отливом, с игрой’ и значение ‘лицемерный, двоедушный, скрытный’.
- 18 Некоторые современные словари отмечают также прямое значение ‘с двумя лицами’ (МАС), однако в них не приведены не только примеры из художественной литературы или публицистики, но и не составлены речения, что позволяет сделать вывод об искусственности подобного толкования в настоящее время. Словарь Ожегова–Шведовой отражает, на наш взгляд, более реальное функционирование слова, указывая, правда, только значение ‘то же, что двуличный’.
- 19 *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1–3. М., 1958.
- 20 Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М., 1988–2004. Т. 1–7.
- 21 Русская грамматика. М., 1980. Т. 1. С. 228.
- 22 Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного // Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. / Под ред. В.В. Виноградова и Н.Ю. Шведовой. М., 1964. С. 447.
- 23 Русская грамматика. С. 178, 198.
- 24 Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного. С. 119.

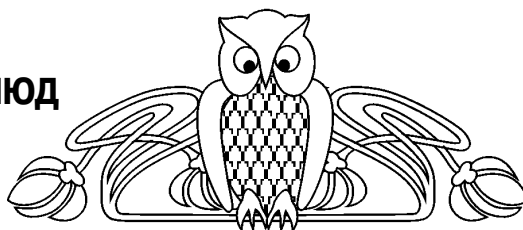
УДК 808.2–085.5 (082)

НОМИНАЦИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И БЛЮД В РАЗНЫХ СЕМЬЯХ

А.Н. Байкулова

Институт филологии и журналистики
Саратовского государственного университета,
кафедра русского языка и речевой коммуникации
E-mail: Philology@sgu.ru

Исследование семейных номинаций – составная часть разноаспектного изучения семейного общения и речи. В статье в антропоцентрическом ракурсе исследуются номинации продуктов питания и блюд, выявляются общие и специфические черты лексикона разных семей.



Ключевые слова: разговорная речь, семейный лексикон, «пищевые» номинации, продукты питания, заимствования.

Nomination of Food and Dishes in Different Families

A. N. Baikulova

Study of family nominations is part of multi-aspect study of intercourse within family and family speech. The article uses anthropocentric approach to the study of names of food and cooked



dishes, revealing common and specific features of lexicon in different families.

Key words: spoken speech, family lexicon, nominations of food, borrowings.

Начало лингвистического изучения семьи было связано прежде всего с изучением особенностей разговорной речи (РР). В семейной сфере эти особенности проявлялись очень ярко, поэтому в фундаментальных исследованиях РР было представлено и проанализировано большое количество примеров, взятых именно из семейного общения¹.

Семейный лексикон стал предметом внимания лингвистов в разных аспектах. Так, в работах Р.Р. Чайковского, Е.Ю. Кукушкиной² были рассмотрены основные лексико-семантические группы фамилизмов, функции домашнего языка и словообразовательные модели, по которым образуются нестандартные семейные номинации. Семейный лексикон в коммуникативном и антропоцентрическом аспекте изучал Л.А. Капанадзе³. А.В. Занадворова с соавторами⁴ выявили функции семейного языка, описали механизмы возникновения специфической семейной лексики и фразеологии. Большая часть статьи посвящена семейным именам, прозвищам и обращениям членов семьи друг к другу (анализируются причины их возникновения, их функции). В рамках изучения РР номинации предметов домашнего обихода, квартиры, её убранства и планировки домашних помещений исследовались В.А. Богдановой⁵. Мы же рассмотрим «пищевые» семейные номинации прежде всего в антропоцентрическом ракурсе, поскольку, на наш взгляд, очень важно, как в семейных номинациях отражается личность человека, его семейное бытие, характер межличностных отношений⁶.

Все лингвисты, занимающиеся разговорной речью, отмечают сложность классификации, типизации тех или иных языковых явлений в этой сфере. При изучении семейной речи мы сталкиваемся с теми же трудностями. Мир каждой семьи неповторим, и всё привести к общему знаменателю просто невозможно. Вот почему своё исследование семейного лексикона мы строим на основе сопоставления речевого мира двух семей (в данной работе с.М. и с.Б.), сходных по составу, структуре, семейному стажу, особенностям семейного уклада и быта, по качеству отношений и атмосфере в семье (благополучные интеллигентские семьи). Наши результаты могут быть сопоставлены с результатами обследования других семей, что позволит делать выводы об общем и специфическом в речевом общении разных семей. Цель данной работы – представить результаты наблюдений за номинациями продуктов питания и блюд в разных семьях. Материал собирался в 2005–2006 г. с применением метода включённого наблюдения и метода перекрёстного опроса информантов (данные, полученные при опросе

одного информанта, перепроверялись при опросе других информантов).

Представим часть полученного материала. Рядом с отдельными словами, в скобках, даются пояснения и указания, если данные номинации являются индивидуальными: их употребляет в основном (м) – мать, (о) – отец, (д) – дочь, (з) – зять или (м, д, с.) – мать, дочь, сын, хотя следует помнить о том, что в условиях повседневного общения всегда происходит речевое взаимовлияние и возможно появление этих номинаций в речи других членов семьи.

Хлеб с.М.: *хлеб, булка чёрного, чёрный, буханка белого, белый, белый батон, чёрный батон, батончик*; с.Б.: *хлеб, хлебушек (м), хлебец (м), буханка ржаного (м), ржаной, чёрный, буханка белого, белый, батон, батончик*.

Концентрированный суп в пакете (могут быть разнообразные названия, например, «Суп мясной с вермишелью» и др.) с.М.: *концентрат*; с.Б.: *суп из пакетика, государственный, государственный супчик, змеиный супчик* (по жёлто-зелёному цвету) (о.).

Щи с.М.: *щи*; с.Б.: *щи, щецЫ, щИшки*.

Борщ с.М.: *борщ*; с.Б.: *борщ, борщец, борщик*.

Суп с.М.: *суп, супчик*; с.Б.: *суп, супчик (м), супец (о)*.

Рыбный суп с.М.: *суп, уха*; с.Б.: *рыбный суп, рыбный супец*.

Уха с.М.: *суп, уха* (с пшеном); с.Б.: *уха, ушица*.

Макарон по-флотски с.М.: *макарон по-флотски*; с.Б.: *вермишель по-флотски, макароны по-флотски*.

Картофельное пюре с.М.: *юре, пюрешка, мятая картошка (з)*; с.Б.: *юре, пюрешка*.

Пельмени с.М.: *пельмени, пельмешки пельмяшки (д)* (от названия «Пельмяки»); с.Б.: *пельмени, пельмешки*.

Холодец с.М.: *холодец, студень (м, о)*; с.Б.: *холодец*.

Яичница с.М.: *глазунья, с глазёнками (м), яишенка, перемешанные яйца (з)*; с.Б.: *яичница, яишенка (м), кашка* (дочь называет так яичницу с молоком).

Салат «Оливье» с.М.: *зимний, оливье*; с.Б.: *оливье*.

Разнообразные консервированные овощи (помидоры, огурцы, капуста, лук, чеснок и др.) с.М.: *огород (м), ассорти (д), салат*; с.Б.: *ассорти*.

Блины с.М.: *блины, блинчики, блИнцы*; с.Б.: *блины, блинчики*.

Блины с начинкой с.М.: *блинчики с творогом, мясом, печёнкой (м); блины с творогом, мясом, печёнкой (д)*; с.Б.: *завёртники, завёртнички (о), блинчики с мясом, блинчики с творогом*.

Пирог с яблоками с.М.: *шарлотка (д), пирог с яблоками (м)*; с.Б.: *яблочный пирог (м, д, с), шарлотка (о)*.

Плов с.М.: *плов, плов по-узбекски, по-турк-*



менски, по-казахски (различает только отец); с.Б.: *плов, пловец*.

Клёцки с.М.: *клёцки*; с.Б.: *галушки*.

Пшённая каша с.М.: *пшённа (д), дружба* (рис с пшеном), *каша пшённая*; с.Б.: *пшённая каша, полевская каша* (пшённая каша с добавлением картофеля и растительного масла; пришло от бабушки, которая жила в Тамбовской обл.).

Протёртые овощи в рассоле с.М.: не делают; с.Б.: *мурцовка* (протёртые солёные огурцы и помидоры в рассоле с добавлением хрена, горчицы, растительного масла; пришло от бабушки, которая жила в Тамбовской обл.).

Окрошка с.М.: *окрошка, холодник* (окрошка со свёклой); с.Б.: *окрошка*.

В результате опроса выяснилось, что в лексиконе обеих семей присутствуют не только широко распространённые названия блюд и продуктов питания (*блины, винегрет, салат, суп с фрикадельками, яблочный пирог, первое, второе* и др.), но и специфические, свойственные данной конкретной семье, номинации (*завёртники, холодник, пельмяшки, государственный супчик, змеиный супчик, полевская каша* и др.). В каждой семье существует свой набор блюд, который свидетельствует о вкусовых пристрастиях членов семьи, их быте, материальном достатке: в с.М. не готовят мурцовку, полевскую кашу, салат «Гранатовый браслет», не делают суповую заправку, а в с.Б. не делают салат «Мимоза», не пекут печенье треугольной формы, соответственно не появляется и таких номинаций.

Для этого типа номинаций, как и для других семейных номинаций, характерно разнообразие: *блины, блинчики; оливье, зимний; окрошка, холодник; яичница, кашка* и т.д. Иногда одно и то же название может обозначать отличающиеся по внешнему виду и вкусу блюда. Так, номинации *блины* и *блинчики* в одних семьях обозначают большие и маленькие по размеру или дрожжевые (толстые) и недрожжевые (тонкие) блины, а в других эти названия по своему содержанию полностью совпадают, употребление разных вариантов названий может быть обусловлено гендерным фактором или речевой экспрессией. В с.М. все различают *блины, блинчики* и *блИнцы*, в с.Б. отождествляет *блины* и *блинчики* только муж.

В обеих семьях есть индивидуальные варианты номинаций блюд, отражающие личностные особенности говорящих. Использование диминутивов *хлебушек, супчик, блинчики, борщик, яичница с глазёнками* в нашем материале отражают проявления гендерного фактора: так говорят в основном женщины, тогда как *борщец, супец, щецЫ* чаще использует мужчина (отец в с.Б.). В с.М. виды плова различает только отец, потому что именно он готовит плов, это своего рода хобби. В одной и той же семье один и тот же салат мать называет *огород*, а дочь – *ассорти*; по-видимому, это проявление языкового вкуса (языковой вкус – «система установок человека в отношении языка

и речи»⁷). Причём в семейном употреблении собственные имена начинают использоваться как нарицательные: салат «Гранатовый браслет» в с.М. – гранатовый браслет. Подобные факты встречаются и в других семьях⁸.

Представленный материал отражает процесс развития семейного лексикона: пирог с яблоками называет *шарлоткой* только дочь в с.М. и только отец в с.Б., единого названия для пирога в обеих семьях пока не сложилось. А вот слово *галушки* стало узальной нормой в с.Б., хотя, например, хозяйка дома знает, что более подходящим словом для обозначения этого блюда было бы *клёцки*.

Многие номинации представляют собой заимствования из лексикона других семей. Это своего рода семейные реликвии. Например, заимствованными в с.Б. являются номинации *галушки, мурцовка, полевская каша, завёртники, завёртнички* (от бабушки мужа, которая очень любила готовить и угощать); *суповая заправка, икра* (от матери жены), *гранатовый браслет* (от знакомых). Есть заимствования и в с.М.: *блИнцы* (от матери жены), каша *дружба* (от знакомых). В с.Б. употребляется, хотя и редко, слово *еда*: *Это хорошая еда* (о каком-либо новом блюде)// *Надо её утвердить* (часто готовить), а в с.М. отец (и только он!) часто употребляет слово *крошево* (так говорили в деревне, где он жил): *Пойду крошево (еду) готовить*//.

Для наглядности мы сопоставили лексикон только двух семей, но если расширить материал, то можно было бы удивляться многообразию вариантов номинаций, которые существуют в семьях. Например, в лексиконе разных семей могут встретиться такие номинации: салат «оливье» – *мясной*, ватрушки – *товоружки*, лепёшки из остатков каши – *кашники*, макароны по-флотски – *цыплячье, расстрёпка, тамболь*⁹; гороховый суп – *горсуп*, названия супов – *орешек, слонёнок, овощное рагу – солянка, аджаб-санда, овощи, пергузе*, каша из толокна – *драндулет*, домашний шоколад – *домашка* (конденсат) и *кауса* (какао+сахар), банан – *нан*, апельсин – *син*, сухарики – *харики* и т.д.¹⁰; *грибница* – по всей вероятности, блюдо с грибами (*Пойду грибницу разогрею*)¹¹; *суп из пакетика – бомжатский супчик* (от аббревиатуры *бомж*), *милицейский супчик* (распространённая еда милиционеров на дежурстве)¹².

Пути пополнения семейного словаря представлены в работе Е.Ю. Кукушкиной¹³ и более полно в работе А.В. Занадворовой и соавторов¹⁴. Отмечая динамизм языка в семье, А.В. Занадворова выделяет два основных источника пополнения семейного лексикона: внутрисемейные источники (создание новых слов по различным словообразовательным моделям и переосмысление уже известных; детская речь; случайные оговорки, описки, ослышки; слова, «передающиеся по наследству» от старшего поколения к младшему) и заимствования из речи других социальных групп,



из других языков, из художественной литературы, кино, СМИ.

Проведенный анализ показал, что специфика лексикона каждой отдельной семьи определяется особенностями быта, семейными речевыми традициями, семейным речевым творчеством, неповторимостью и своеобразием языковых личностей членов семьи (большую роль играет личный, психологический и социальный фактор), поэтому даже в одной семье её члены используют разные номинации одного и того же, а не только единый семейный лексон.

Примечания

- 1 См., напр.: *Полищук Г.Г.* Номинации разговорной речи // *Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка: Лексика.* Саратов, 1983.
- 2 См.: *Чайковский Р.Р.* Язык в семье как разновидность социолекта // *Вариативность как свойство языковой системы: Тез. докл. Ч. 2.* М., 1982; *Кукушкина Е.Ю.* «Домашний язык» в семье // *Язык и личность.* М., 1989.
- 3 См.: *Капанадзе Л.А.* Семейный диалог и семейные номинации // *Язык и личность.* М., 1989.
- 4 *Занадворова А.В., Какорина Е.В., Китайгородская М.В. и др.* Отражение социальной дифференциации языка в языковой жизни малых социальных групп (на примере семьи) // *Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация.* М., 2003.

- 5 См.: *Богданова В.А.* Номинация предметов домашнего обихода, квартиры, её убранства и планировки // *Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского языка: Лексика.* Саратов, 1983.
- 6 См.: *Байкулова А.Н.* Речевое общение в семье: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 2006; *Она же.* Номинации домашних помещений в различных семьях // *Предложение и слово: Межвуз. сб. науч. тр.* Саратов, 2008.
- 7 См.: *Карасик В.И.* Речевое поведение и типы языковых личностей // *Массовая культура на рубеже XX–XXI веков: Человек и его дискурс: Сб. науч. тр.* М., 2003. С. 27.
- 8 *Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка: Лексика.* Саратов, 1983.
- 9 Примеры см.: *Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка: Лексика.* Саратов, 1983. С. 9.
- 10 Примеры см.: *Кукушкина Е.Ю.* «Домашний язык» в семье // *Язык и личность.* М., 1989. С. 97–98.
- 11 Примеры см.: *Живая речь уральского города. Тексты.* Екатеринбург, 1994. С. 36.
- 12 Примеры см.: *Китайгородская М.В., Розанова Н.Н.* Тема пищи в жанрах РР // *Проблемы речевой коммуникации: Межвуз. сб. науч. тр.* Саратов, 2003.
- 13 *Кукушкина Е.Ю.* «Домашний язык» в семье // *Язык и личность.* М., 1989.
- 14 *Занадворова А.В., Какорина Е.В., Китайгородская М.В. и др.* Указ. соч.

УДК 342.725(494)

РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО ПРАВА В ШВЕЙЦАРИИ

В.Т. Клоков

Институт филологии и журналистики
Саратовского государственного университета,
кафедра романской филологии
E-mail: kvassili@mail.ru

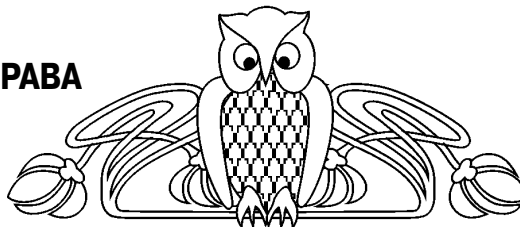
В статье обсуждаются вопросы языкового права, действующего в сложных условиях многонационального и многоязычного устройства швейцарского общества. Особое внимание уделяется особенностям регулирования конфликтов, порой возникающих в противоположных интересах разных общественных групп страны.

Ключевые слова: французский язык в Швейцарии, языковое право, языковая политика.

Development and Application of Language Law and Language Rights in Switzerland

V.T. Klokov

The article discusses the problems of language law and language rights in multinational and multilingual Swiss society. Special attention is drawn to the practice of reconciling the disputes arising from conflicting interests of different social groups.



Key words: French language in Switzerland, language law, language politics.

Сегодня Швейцария представляет собой конфедеративное государство, официально называющееся Швейцарской Конфедерацией (для сравнения: Франция представляет собой унитарное государство, Бельгия – федеративное). Швейцарская Конфедерация состоит из 26 суверенных кантонов. Территория страны равна 41 285 км² (для сравнения: территория Франции равна 543 965 км², Бельгии – 30 527 км²). Она граничит на севере с Германией, на востоке – с Австрией и княжеством Лихтенштейн, на юге – с Италией, на западе и юго-западе – с Францией.

В языковом плане страна включает в себя Французскую Швейцарию (Suisse romande), Немецкую Швейцарию (Suisse alémanique), Итальян-



скую Швейцарию (Suisse italienne) и Ретороманскую Швейцарию (Suisse romanche). Эти регионы соответственно называют Зона 1, Зона 2, Зона 3 и Зона 4. Границы швейцарских языковых зон определяются Федеральным управлением статистики. Эти зоны представляют собой территории, в большинстве коммун которых количественно доминирует население, пользующееся теми или иными национальными языками.

Согласно Конституции, по языковому признаку кантоны в Швейцарии распределяются следующим образом:

17 немецкоязычных кантонов:

Ааргау, Аппенцель Ауссерроден, Аппенцель Иннерроден, Базель город, Базель сельский, Гларус, Золотурн, Люцерн, Обвальден, Санкт-Галлен, Тургау, Ультервальден, Ури, Цуг, Цюрих, Шафхаузен, Швиц;

4 франкоязычных кантона:

Во, Женева, Невшатель, Юра;

3 франко-немецких кантона:

Берн, Вале, Фрибур;

1 италияязычный кантон:

Тичино;

1 итало-немецко-ретороманский кантон:

Граубюнден.

Составы языковых зон и административных единиц (кантонов, дистриктов и коммун) значительно разнятся между собой. Расхождение связано с имеющейся у жителей коммун возможностью переселяться из одного кантона в другой, а также с возможностью сменить основной язык коммуны по результатам очередной переписи населения. Но даже при таких обстоятельствах языковые границы в стране в принципе остаются неизменными.

Стабильность языковой ситуации в современной Швейцарии во многом поддерживается благодаря строгости языкового права и эффективности его применения.

Несмотря на то что швейцарское государство изначально в 1291 г. было сформировано силами только немецкоязычного сообщества, в отношении народов присоединявшихся территорий никогда не проводилось политики германизации. Именно в связи с этим после бурных религиозных и политических событий предшествующих периодов в общем-то небольшая по территории и численности населения Швейцария ко времени революции 1848 г. сложилась как современное с четырьмя национальными культурами и соответственно с четырьмя языками, а в то время литературными формами трех из них – немецкого, французского и итальянского – пользовались лишь представители элиты, однако между собой эти разноязычные швейцарцы могли общаться свободно, так как почти все были полиглотами. Народные же массы с литературными стандартами были знакомы мало и разговаривали главным образом на алеманских, франко-провансальских, ретороманских и итальянских диалектах, причем

межнациональное общение в их среде было в общем-то мало распространенным явлением¹.

Первый закон о языках в Швейцарии впервые был записан в статье 109 Конституции 1848 г. В ней немецкий, французский и итальянский языки объявлялись национальными и говорилось, что расходы по переводу документов общегосударственного значения берет на себя государство. В пересмотренной в 1872 г. Конституции текст статьи 109 был дополнен положениями, касавшимися работы судей. В Конституции от 1874 г. статья о языках фигурировала под номером 116. В ней за немецким, французским и итальянским языками подтверждалось право функционировать в важных сферах публичного общения, и право это не только гарантировалось юридически, но и обеспечивалось бюджетными средствами. Государственная поддержка только немецкого, французского и итальянского языков, безусловно, дискриминировала другие формы речи, существовавшие в то время в Швейцарии: если немецкий, французский и итальянский языки ставились в привилегированное положение, то диалектам в государственной поддержке было отказано. В полной мере это касалось ретороманского языка, так как государственная власть не наделила его национальным статусом.

Только в 1938 г. по просьбе властей кантона Граубюнден в статью 116 было внесено изменение, согласно которому ретороманский язык был дополнительно включен в число национальных, возведен до уровня немецкого, французского и итальянского языков и получил право на самостоятельное и независимое существование. Важно отметить, что признание за ретороманским языком национального статуса произошло в период расцвета в соседней Германии нацизма и фашистской дискриминации национальных меньшинств. На этом фоне швейцарцы сознательно демонстрировали свое уважение к малым национальным группам и свою традиционную приверженность принципам демократии.

И все же, несмотря на изменения в Конституции, ситуация с языками в Швейцарии продолжала оставаться конфликтной.

Внесение в 1938 г. конституционной поправки изменило представление о национальных языках Швейцарии и фактически лишило юридического смысла само понятие «национальный язык», так как статус национальных получили все четыре основных языка страны. Создавшееся затруднение было в некоторой степени разрешено путем придания немецкому, французскому и итальянскому языкам официального статуса при сохранении за ретороманским языком лишь статуса национального. Статья 116 в новой редакции была записана следующим образом:

«<...> немецкий, французский, итальянский и ретороманский языки считаются национальными языками. <...> официальными языками объявляются немецкий, французский и итальянский».



Таким политическим шагом швейцарские власти подтвердили свое желание общаться с гражданами страны не на всех национальных языках, а только на немецком, французском и итальянском. Придание же официального статуса ретороманскому языку было признано нецелесообразным в силу его невысокой государственной значимости².

В связи с получением ретороманским языком национального статуса в стране возник ряд серьезных проблем.

Первая проблема, как говорилось выше, касалась фактического содержания термина «национальный язык» в применении к тем языкам Швейцарии, которые были провозглашены официальными. Получалось, что после принятия поправки к статье 116 и согласно принципу равноправия языков федеральные власти обязаны были поддерживать равенство всех четырех языков, и любые шаги в области языковой политики не должны были нарушать этот паритет. Провозглашение же официальными языками только трех языков устанавливало неравенство среди четырех швейцарских народов. Противоречие усиливалось в связи с положением статьи 4 Конституции, в которой устанавливались равные права граждан на пользование языками.

Вторая проблема была связана с трудностями ретороманцев реально отстаивать национальную самостоятельность своего языка, так как ретороманский язык был и остается языком лишь незначительной части населения страны (на нем говорит менее одного процента швейцарцев; более того, по своей структуре он представляет далеко не монолитное образование, а систему пяти вариантов, каждый из которых имеет собственную форму письменной речи). Наделение ретороманского языка правами, равными правам немецкого, французского и итальянского языков, и последующая работа над его стандартизацией требовали больших государственных затрат.

Третья проблема касалась отношения к диалектным формам языков на территории Швейцарии. Постепенно в немецкой и французской зонах стали проявляться противоположные тенденции: франко-швейцарцы стремились к развитию литературного, пусть и неродного, французского языка (в основном путем распространения грамотности через религиозное и школьное образование) и к сокращению роли родного франко-провансальского языка. Немецкоязычное население, напротив, продолжало ориентироваться на родной алеманский диалект, пренебрегая литературным стандартом чужого, немецкого, языка. В основе психологии германоязычных швейцарцев лежало неприятие языка соседней Германии вначале в период Первой мировой войны, когда две страны оказались в противоборствующих лагерях, а затем во времена германского фашизма и в годы Второй мировой войны. Тем не менее политической поддержкой алеманский диалект со стороны государства не

пользовался и в официальную сферу не был допущен, даже наряду с литературным немецким языком.

Что же касается государственной поддержки ретороманских диалектов в Швейцарии (придание им статуса национального языка), то она, в свою очередь, была связана с неприятием швейцарцами германского национализма и посягательств на ретороманскую территорию со стороны Италии времен Муссолини. В конечном итоге конституционная поддержка сохранила ретороманские диалекты и помогла образовать на их основе единый ретороманский стандарт.

Действующий федеральный закон о языках

Итак, в середине 90-х гг. XX столетия перед швейцарским сообществом возникли серьезные проблемы языкового порядка. Они касались взаимопонимания и контактов между основными языковыми группами страны, главным образом между немецкоязычным и франкоязычным населением. Необходимо было принять меры по защите ретороманского языка, о придании ему необходимого статуса, о стандартизации его системы и т.д. Требовалось также поддержать итальянский язык, предоставить ему необходимые условия для полноценного функционирования в стране. Вставал вопрос о преподавании в школах иностранных языков из числа национальных или подлинно иностранных (в частности, английского). Актуальной проблемой было преподавание языков иммигрантских меньшинств в стране.

В обсуждении этих проблем приняла участие значительная часть населения страны. Многие высказывались за то, чтобы соответствующие вопросы серьезно решались на общегосударственном уровне, и впервые в Швейцарии стала проводиться настоящая языковая политика, в которой принимали участие отдельные граждане, общественные организации, научные коллективы, кантональные и федеральные государственные власти.

В 1996 г. швейцарский народ и кантоны приняли важные поправки к закону 116 об официальных языках страны. Наиболее значимой считается поправка о признании за ретороманским языком статуса официального языка, ограниченного, однако, внутригосударственным уровнем.

По новой Конституции значительные права в области языковой политики были переданы от федеральных властей кантональным. После принятия такого закона перед швейцарцами встала задача применения этих прав на местах. Языковая политика становилась менее централизованной и более демократичной³.

18 апреля 1999 г. в стране была принята очередная Конституция, статья 4 которой была посвящена национальным языкам, а статья 70 – официальным языкам страны.



Согласно статьи 4, «немецкий, французский, итальянский и ретороманский языки являются национальными языками страны»⁴.

По поводу официальных языков в статье 70 Конституции записано следующее:

«1. Официальными языками Конфедерации являются немецкий, французский и итальянский. Ретороманский язык также является официальным языком, он служит средством общения Конфедерации с лицами, пользующимися ретороманским языком.

2. Кантоны сами устанавливают для себя перечень официальных языков. Для сохранения гармонии между языковыми сообществами кантоны соблюдают традиционные языковые границы и принимают во внимание существование на их территориях автохтонных языковых меньшинств.

3. Конфедерация и кантоны стимулируют общение и обмена между языковыми сообществами.

4. Конфедерация поддерживает многоязычные кантоны в выполнении ими своих особых задач.

5. Конфедерация поддерживает меры по сохранению и развитию ретороманского и итальянского языков в кантонах Граубюнден и Тичино»⁵.

Правовые принципы использования языков

Принцип равноправия языков. В законе об официальных языках Швейцарии заложен принцип равноправия языков, согласно которому у швейцарцев имеется право в полной мере пользоваться любым из них. Этот принцип подтверждается ответственностью федеральных властей за поддержание равноценного состояния и функционирования национальных языков. В свою очередь, право граждан на пользование любым из языков страны гарантируется возможностью обращения к представителям государственной власти на каждом из официальных языков и обязанностью государственных служащих исполнять свои функции также на любом из этих языков.

Исторически принцип равноправия языков в Швейцарии соблюдался не всегда строго, в частности в практике публикации законодательных текстов. Так, в 1848 г. при обсуждении Конституции вначале было предложено публиковать федеральные законы только на немецком и французском языках. Несмотря на то что это положение не было закреплено в Конституции, вплоть до 1902 г. официальные тексты на итальянском языке в Швейцарии не публиковались. Более того, в парламенте страны составление законодательных проектов на итальянском языке стало повсеместным только начиная с 1971 г. На предварительном же этапе обсуждения законодательных проектов в парламенте итальянский язык не используется и поныне. Еще в меньшей степени принцип равно-

правия языков соблюдается на провинциальном уровне, где нередки случаи дискриминации малых неофициальных языков. В Швейцарии имеется множество языков национальных меньшинств: идиш, цыганский, испанский, греческий и др. И самое большее, на что решаются федеральные власти, – это финансировать затраты на их преподавание в университетах.

Таким образом, на федеральном уровне принцип равноправия официальных языков Швейцарии уже долгое время находится под угрозой.

Наконец, в условиях когда федеральные власти обязаны поддерживать все национальные языки страны, проблематичной становится эффективность поддержки того языка, которым население больше не хочет пользоваться. Главным образом это касается ретороманского языка, носители которого все активнее стали осваивать другие языки, прежде всего немецкий. И все же государство продолжает оказывать ретороманскому языку исключительную поддержку.

Принцип свободы языкового выбора. Швейцария, подписавшая Европейскую конвенцию о правах человека, строго придерживается статьи 14 этого документа, согласно которой в стране запрещается любая дискриминация по языковому принципу. Соответствующее положение сформулировано в статье 18 швейцарской Конституции, где сказано, что свобода выбора языка гарантирована.

Тем не менее в Конституции Швейцарии принцип свободы языкового выбора прописан слабо, хотя кроме статьи 18 его отражение можно обнаружить в других частях Конституции: в параграфах, касающихся свобод, реализация которых невозможна без свободы прессы, свободы совести, свободы общественных организаций, свободы политической деятельности. Кроме того, свобода выбора языка косвенно гарантирована статьей 70, согласно которой четыре национальных языка страны поддерживаются государством.

Довольно слабо принцип свободы языкового выбора прописан в положениях об официальных языках кантонов. Здесь этот принцип входит в противоречие с принципом территориального распространения языков в Швейцарии. В частности, неясно, могут ли кантональные коммуны по своему усмотрению менять официальный статус языков на своей территории и должны ли они строго придерживаться результатов переписей населения.

В то же время фактически индивидуальное право швейцарцев на свободное пользование языками реализуется строго по закону. Так, в федеральные государственные учреждения граждане имеют право обращаться на любом из официально признанных языков. И это несмотря на то что такая практика потребовала создания огромной армии переводчиков в административно-государственном аппарате страны.



Принцип языковой территориальности. Права швейцарских граждан на пользование языками основываются не только на принципах равенства языков и свободы языкового выбора, но и на принципе языковой территориальности, впервые обозначенном в решении, принятом в 1965 г. федеральным судом в связи с делом о преподавании языков в школе. Согласно этому решению в Швейцарии школьное образование стало предоставляться на официальном языке только данной территории. Так впервые в Швейцарии было отражено превосходство принципа территориальности над принципом свободы выбора языка⁶. Позднее этот принцип был следующим образом записан в Конституции страны:

«<...> для сохранения гармонии между языковыми сообществами кантоны соблюдают традиционные языковые границы и принимают во внимание существование на их территориях автохтонных языковых меньшинств».

Принцип языковой территориальности предусматривает применение некоторых юридических правил, связанных с существованием языков на определенной территории. В частности, он устанавливает, что признаваемый в некотором регионе мажоритарный язык должен использоваться во всех официальных областях социальной жизни. Например, каждый швейцарец, пользующийся гарантированной ему свободой передвижения, имеет право селиться в любом регионе страны, но обязан при этом в публичной сфере пользоваться только тем языком, за которым в данном регионе закреплен официальный статус; более того, гражданин в публичном общении не имеет права требовать обращения к себе на неофициальном языке региона. В этом смысле принято говорить об ассимиляции граждан Швейцарии внутри собственной страны. Например, если германоязычный швейцарец переселяется из Немецкой Швейцарии во Французскую, то на новом месте он вынужден общаться с властями на французском языке и отдавать своих детей учиться во французскую школу (в некоторой степени такая ситуация характерна и для Бельгии, где, однако, имеются зоны с облегченным языковым режимом⁷).

Довольно ярко действие данного принципа проявилось в принятии Федеральным судом решений, касавшихся французской частной школы в Цюрихе. По существующему в этом кантоне закону франкоязычный ученик мог учиться на французском языке не более двух лет, после чего был обязан переходить на обучение в немецкую школу. Такие суровые для франкоязычных детей условия были связаны с политикой ассимиляции граждан Швейцарии в пределах отдельных культурно-языковых территорий. И это несмотря на очевидность того, что немногочисленное франкоязычное население совершенно не угрожает культуре немецкоязычного Цюриха. В 1976 г. руководство школы обратилось к федеральным властям с просьбой законодательно разрешить

франкоязычным школьникам обучаться только на французском языке. Но федеральные власти не позволили менять существующий порядок на том основании, что такому примеру могли бы последовать представители других национальных групп и что это в значительной мере могло бы нарушить принцип территориальности в распространении языков и культур в швейцарских кантонах.

И все же в случае с французской школой в Берне принцип территориальности был нарушен. Дело в том, что в этом городе работает много франкоязычных государственных служащих. Оставаясь франкофонами, они исполняют свои служебные обязанности в Берне именно на французском языке. А существующая здесь французская школа позволяет их детям оставаться франкофонами.

Принцип территориальности является не только инструментом внутренней ассимиляции граждан Швейцарии, но и средством защиты и развития языковой дифференциации в федеративной Швейцарии, ибо этот принцип обуславливает неизбежность языковых границ в стране и, в частности, сохранность ретороманского языка, который распространен среди весьма незначительной части населения.

Швейцарские юристы следующим образом оценивают принцип территориальности в своей стране:

«Принцип территориальности есть юридическое средство, предназначенное для сохранения имеющейся языковой ситуации в Швейцарии и, следовательно, для защиты ее языков. <...> Этот принцип призван создать такие условия, при которых каждый швейцарец может иметь одинаковые возможности пользоваться свободой языкового выражения, которая ему предоставлена как знак признательности его уважения своих сограждан и их языков <...>»⁸

Специалисты считают также, что если бы принцип территориальности не воплощался в жизнь так, как это имело место в последние столетия, то языковые границы Швейцарии не остались бы неизбежными. Но, с другой стороны, воплощение этого принципа в жизнь мешает внутреннему объединению некоторых регионов, в частности, ретороманских территорий.

Принцип языковой территориальности, как было сказано выше, в тексте швейцарской Конституции прописан довольно нечетко, но он явно вытекает из исторического пакта, заключенного при образовании Швейцарской Конфедерации в 1291 г. Суть соглашения состоит в обязательстве конфедератов всемерно поддерживать друг друга. В настоящее время граждане Швейцарии стараются придерживаться этих обязательств, проявляя тем самым уважение к установившимся в стране культурным традициям и языковым границам.

Исторически национально-языковые границы Швейцарии далеко не точно соответствуют административному кантональному делению страны



(за исключением кантона Тичино, где проживает исключительно италийскоязычное население Швейцарии). Поэтому проблема языкового суверенитета в Швейцарии остается весьма деликатной. В первую очередь это связано с тем, что непосредственную заботу о сохранении разнообразия языков и культур на местах проявляют кантональные органы власти, так как по Конституции языки в Швейцарии поддерживаются не на федеральном, а на кантональном уровне. Так, средства на развитие итальянского языка из федерального бюджета, как правило, отправляются отдельно на кантон Тичино и кантон Граубюнден. Однако италийскоязычные граждане Граубюндена обычно не получают средств от кантональных властей, а их соплеменники в Тичино в полной мере пользуются кантональным финансированием (италофоны Граубюндена на соответствующие цели получают субсидии лишь от полуобщественных и частных организаций)⁹.

Нужно также учесть, что применение принципа территориальности в некоторой степени ограничено в кантонах со смешанным языковым населением. Речь, в частности, идет о регионах, в которых доля немецкого и французского языков примерно одинакова. Эти регионы не обладают языковой однородностью и на их пространстве принцип языковой территориальности в полной мере не защищает ни один из языков. В пограничных районах, где в связи с социальными процессами соотношение языков меняется быстро, защита языковых границ ослабляется искусственно. В противном случае возникали бы частые социальные конфликты, особенно в судопроизводстве и школьном образовании.

И все же реализация задач, возложенных на кантональные власти в деле защиты языков и культур, осуществляется в довольно узких правовых рамках. Разные ограничения вызваны плотным надзором со стороны федерального парламента за законодательной деятельностью кантональных властей. Так, в 1931 г. в парламенте кантона Тичино был принят закон о языке вывесок в местных гостиницах, ресторанах и магазинах. Федеральные власти воспротивились этому закону и убрали из него отдельные положения, в частности, те, что касались перевода вывесок с итальянского на другие языки (предлагалось, чтобы на вывесках текст перевода был написан буквами в два раза меньшими, чем в тексте оригинала). Возражение федерального парламента было связано с необходимостью предоставлять равные права для любого бизнеса на всей территории страны. Именно с такой оговоркой в 1954 г. и был записан кантональный закон Тичино о вывесках.

Сегодня главное состоит в том, чтобы за каждой коммуной в составе кантона был четко обозначен языковой статус. Эта тема особенно актуальна

для Граубюндена, где развивающееся разноязычие угрожает национально-историческому единству ретороманцев, и возникла необходимость принять такой закон, который позволил бы каждой территории, входящей в состав Граубюндена, иметь строгий статус ретороманской, немецкой, итальянской или смешанной коммуны. С принятием такого положения ситуация произвольного развития языков в Граубюндене попала бы под юридическое регулирование по принципу территориальности, утверждающему необходимость сохранения в регионе исторически сложившейся языковой ситуации. Языковая однородность коммун и всего кантона была бы защищена, и вновь прибывающие в регион иммигранты (главным образом германоязычные и италийскоязычные) были бы вынуждены ассимилироваться.

Для Граубюндена проблема реального разделения коммун по языковому признаку обсуждалась неоднократно. В расчет принимались не только критерии демографической статистики и уровня билингвизма среди населения, но и традиционность, а также реальный статус языков, распространенных в коммунах. Однако принятие соответствующего закона до сих пор не состоялось, так как проблема оказалась непростой. Есть опасения, что юридическая практика в отношении языков кантона Граубюнден даст повод для нарушения принципа языковой территориальности и в других кантонах Швейцарии. Более того, в настоящее время серьезно рассматривается вопрос о признании за немецким языком в Граубюндене статуса второго официального языка.

Примечания

- 1 См.: *Brohy Cl., Werlen I.* Y a-t-il un bilingue pour sauver la Suisse? // <http://www.unifr.ch/spc/UF/94decembre/brohy.html>
- 2 См.: *Dessemontet F.* Le droit des langues en Suisse. Québec, 1984 // <http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/PubD115/D115ch1.html>. P. 46.
- 3 См.: *Grin F.* Pourquoi un débat sur la politique linguistique suisse? // Les perspectives de la politique linguistique en Suisse, 1996 // <http://www.spsr.ch/Debates/LPPS/LPSS1.pdf>
- 4 Constitution fédérale de la Confédération suisse // <http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/index.html>
- 5 Там же.
- 6 См.: *Rochon G.* Présentation // Dessemontet F. Le droit des langues en Suisse. Québec, 1984. P. 8.
- 7 См.: *Клоков В.Т.* Французский язык в Бельгии. Саратов, 2007.
- 8 Цит. по: *Camartin I.* Les relations entre les quatre régions linguistiques // La Suisse aux quatre langues. Zoé, 1985. P. 263–264.
- 9 См.: *Dessemontet F.* Op. cit. P. 26.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821.161.1.09+929 Чернышевский

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ: К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

А.А. Демченко

Педагогический институт Саратовского государственного университета,
кафедра русской классической литературы и методики преподавания
E-mail: adema4@yandex.ru

Предлагается современное рассмотрение жизни и творчества Н.Г. Чернышевского с привлечением малоизученных материалов.

Ключевые слова: Чернышевский, литература, биография, культура, демократизм.

Nicholai Chernyshevsky: Towards 180-th Anniversary

A.A. Demchenko

The article offers a contemporary view of Chernyshevsky's biography and work, bringing in some understudied materials.

Key words: Chernyshevsky, literature, biography, culture, democracy.

Не говори: «Забыл он осторожность!
Он будет сам своей судьбы виной!..»

Этим знаменательным предупреждением начинается стихотворение Н.А. Некрасова «Пророк (Из Барбье)», написанное в 1875 г.¹. Оно вошло в его предсмертный сборник «Последние песни», и в экземпляре, подаренном художнику И.Н. Крамскому, поэт зачеркнул первоначальное заглавие и надписал: «Памяти Черского», т.е. Чернышевского, но тут же переправил: «В воспоминание о Черском», поскольку Чернышевский был жив, отбывая ссылку в Якутии.

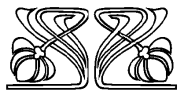
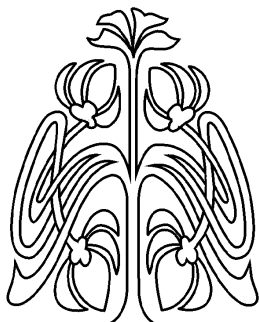
Размышляя о судьбе своего соратника по работе в «Современнике», Некрасов высказывает важную мысль, касающуюся закономерностей общественного и нравственного поведения писателя, сознательно связавшего свою судьбу с судьбой своего народа. Чернышевский, сосланный в Сибирь на пожизненное поселение, вовсе не пал жертвой собственной неосмотрительности, как думают иные вследствие незнания, наивности или поверхностности взгляда. По убеждению поэта,

Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.

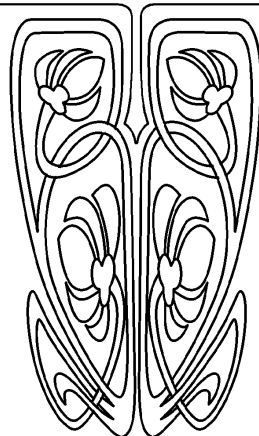
И затем её автор раскрывает хорошо ему известные взгляды публициста, с которым постоянно общался в течение десяти лет:

Но любит он возвышенной и шире,
В его душе нет помыслов мирских.
«Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других!» –
Так мыслит он – и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь ему нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна...

И подобно тому, как Некрасов завершал в 1861 г. стихотворение на смерть Н.А. Добролюбова строкой, прерывающей дыхание ритма, – «Природа-мать! когда б таких людей / Ты иногда не посылала миру, / Заглохла б нива жизни...», – поэт заканчивает стихотворение о Чер-



НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ





нышевском сильной евангелической параллелью, останавливающей воображение:

Его ещё покамест не распяли,
Но час придёт – он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.

В стихотворении-мемуаре Некрасов отметил суть личности Чернышевского: единство убеждений и поступков. Человек, чья судьба ему самому «давно ясна», сознательно идёт на жертвы, если убеждён в личном мужестве, в том, что никогда не поступится своими убеждениями. Он знал о предстоящих суровых испытаниях – нравственных и физических. Но не просил о пощаде, не склонил головы перед торжествующей победою властью, не отрёкся от своей веры и ушёл на каторгу, по словам А.И. Герцена, «с святою нераскаянностью»². Приведём ещё ряд свидетельств. «Верен своим убеждениям в своей жизни и в своих поступках», – вспоминал историк Н.И. Костомаров³, на глазах которого бывший учитель Саратовской гимназии стал соредактором Некрасова в «Современнике», лучшем журнале 60-х гг. «Человек громадных способностей, учёности, неустанного труда, железной воли, неподкупной честности и глубоких убеждений, которым он всю жизнь не изменял ни в чём никогда, – писал другой современник-шестидесятник, Н.Д. Новицкий, офицер, впоследствии генерал, – Чернышевский был во многом, и особенно в этом последнем отношении ... можно сказать, феноменальной личностью в нашей литературе и обществе ... что называется – *цельною личностью*»⁴.

В школьных, да и вузовских учебниках далеко не всегда приходят на память эти характеристики, вскрывающие самую суть облика писателя-демократа. Нередко на первый план выступают иные оценки. Революционер-подпольщик, писавший антиправительственные прокламации и призывавший Русь к топору, автор романа, герои которого то спят на гвоздях, то видят утопические сны о счастливом будущем, а само заглавие романа превращено в извечный, задаваемый по самым разным поводам «русский вопрос», – таким сложился в сознании большинства современного молодого поколения мифический образ Чернышевского.

В этом представлении, далёком от действительности, положительным является одно – незабвение, неравнодушие к имени.

Сразу скажем, что время никогда не относилось к Чернышевскому равнодушно. С самых первых строк в «Современнике», возвестивших о появлении в литературе талантливого работника, до сегодняшнего дня вокруг его имени бурлят страсти, оно, как и прежде, продолжает «шуметь на всех путях и перекрёстках русской жизни», по вынужденному признанию Акима Вольнского, одного из его ярых идейных оппонентов конца

XIX в.⁵ От понимания современниками Чернышевского как крупного писателя-мыслителя, идейно влиявшего на формирование общественного сознания, до чрезмерного в последующее продолжительное время восхваления его как предшественника русского марксизма и затем резкого снижения его роли в отечественной литературе – таковы заметные вехи в оценках писателя на протяжении многих десятилетий.

Бросим пока самый общий взгляд на биографию писателя. Из шестидесяти одного года его жизни (1828–1889) непосредственное участие в общественно-литературном движении продолжалось всего десять лет: в 1853 г. на страницах «Отечественных записок» и «Современника» появились первые публикации двадцатипятилетнего автора, с арестом в 1862 г. его деятельность была насильственно прекращена. Узнику Петропавловской крепости лишь однажды удалось обратиться к читателям – с романом «Что делать?»⁶. Наступившее затем почти полное литературное небытие длилось в России четверть века – до конца его жизни, прошедшей в сибирской и астраханской ссылке, и потом ещё около двадцати лет – после его смерти, когда в 1905–1906 гг. было разрешено издать его первое Полное собрание сочинений. Но и десятилетней работы в «Современнике» оказалось достаточным, чтобы шестидесятые годы XIX столетия назвали его именем, как сороковые – именем Белинского. Переадросовывая самому Чернышевскому сказанное им о немецком просветителе XVIII в. Лессинге, можно сказать, что он для своего времени «был главным в поколении тех деятелей, которых историческая необходимость вызвала для оживления его родины»⁷. Философ, историк, экономист, публицист, литературный критик, беллетрист, педагог, он привлекал и продолжает привлекать внимание исследователей в России и за её пределами. Одухотворённость, огромность взятого на себя труда, истинность социальной позиции – всё это приковывало к нему внимание современников и последующих поколений.

Писал прокламации ... Так ли было на самом деле? Посмотрим на факты.

Да, в Сибирь его отправили за прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», написанной в год объявления знаменитого царского Манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Автор воззвания объяснял половинчатость проведённой реформы: крестьяне получали личную волю, но без земли, которую, после двухлетней отработки у помещика на прежних условиях, вольны были выкупать за свои деньги. Следовал призыв готовиться к решительным выступлениям за подлинную волю. В жандармских архивах сохранился текст прокламации, с которого производился типографский набор, но это не рука Чернышевского. Его авторство пытались на следствии подтвердить собственноручной запиской к наборщику



с просьбой замены некоторых слов. Однако Чернышевский сличением почерков доказывал, что записка подделана. Следственная комиссия не приняла в расчёт эти доводы. Когда архивы стали доступны исследователям, была проведена специальная графологическая экспертиза и она доподлинно установила фальсификацию. Кроме того, были найдены расписки исполнителя подделки и лжесвидетеля В.Д. Костомарова в получении определённых сумм из кассы жандармского III отделения⁸. Исследователи до сих пор не располагают документальными сведениями в пользу авторства Чернышевского в отношении этой или какой-либо другой прокламации⁹. Единственное исключение составляют воспоминания сотрудника «Современника» Н.В. Шелгунова. Однако они были опубликованы уже после его смерти и не по авторской рукописи, которая до сих пор не найдена, а по копии со следами вмешательства публикатора в текст¹⁰.

В своё время в обществе уже носились слухи о подлогах в деле арестованного Чернышевского. В частности, возмущение высказывал в кругу знакомых известный историк С.М. Соловьёв, не разделявший взглядов публициста «Современника», но осуждавший правительство за несправедливую расправу с писателем. Эти разговоры запомнились его сыну, впоследствии религиозному философу и поэту Владимиру Соловьёву. Спустя годы ему довелось познакомиться с материалами следственного процесса Чернышевского, и он написал по этому поводу возмущённую статью о творившихся в старых судах несправедливостях¹¹.

Призывал Русь к топору... Сама фраза, получившая столь определённую адресность, впервые прозвучала в «Письме из провинции», появившемся в 1860 г. в лондонской газете А.И. Герцена «Колокол». Упрекая издателя газеты в нерешительности критических обращений к обещающему реформы царю, автор, подписавшийся псевдонимом «Русский человек», призывал: «Вы всё сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон и пусть ваш “Колокол” благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь...»¹². Кому только не приписывали авторство – и Н.А. Добролюбову, и Н.П. Огарёву, но все исследователи решительно отвергли участие Чернышевского¹³. Однако в расхожей научно-популярной литературе, упорно называя Чернышевского автором прокламации к крестьянам и главой революционной партии в России, из книги в книгу закрепляли за ним и легко контактируемую с этой характеристикой фразу о топоре¹⁴.

Да, Чернышевский не отрицал возникавших порою в истории народов революционных взрывов как историческую неизбежность. В его концепции истории всегда превалировала мысль о смене реакционных периодов революционными и обратно. Не случайно в романе «Что делать?» он предсказывает «новым» и «особенным» людям быть

«согнанными со сцены»: «Под шумом шиканья, под громом проклятий они сойдут со сцены гордые и скромные, суровые и добрые, как были. И не останется их на сцене? – Нет. Как же будет без них? – Плохо. Но после них будет всё-таки лучше, чем до них. И пройдут годы... пришло время возродиться этому типу... и опять та же история в новом виде...»¹⁵

Глубокое прозрение в историческую закономерность сочеталось, по свидетельству современников, с осуждением «прямолинейного революционерства»¹⁶. Чернышевский, как мог, останавливал революционно настроенную молодёжь в её намерениях непременно бунтовать, сочинять воззвания и всевозможные протестные адреса, совершенно справедливые по сути, но, по тогдашним условиям, не достигавшие ожидаемых результатов и провоцировавшие власти к репрессиям. Один из бывших таких студентов впоследствии вспоминал эпизод, связанный с решением студенческого комитета составить адрес, чтобы добиться открытия при Литературном фонде отделения для нуждающихся студентов Петербургского университета, временно закрытого ввиду начавшихся осенью 1861 г. студенческих волнений. «“Вы, господа революционеры, прямо скажу, ужасные вы революционеры, – говорил Чернышевский комитетчикам. – А знаете ли, Сергей Иванович, – неожиданно обратившись к студенту Ламанскому, продолжал Чернышевский, – кто первый революционер в России? Да ведь это ваш братец, Евгений Иванович; посмотрите, каждый день печатает какую-нибудь прокламацию... Если вы откажетесь от адреса, то могу вам наверное сказать, что будет разрешено Второе отделение”. Перед авторитетом Чернышевского скоро умолкли даже самые горячие протестанты. И действительно, через короткое время отделение было разрешено»¹⁷.

В своих статьях Чернышевский приводил немало примеров из истории, когда революционеры устраивали восстания, которые заканчивались лишь напрасными жертвами. «Ох, нетерпение! – Ох, иллюзии! – Ох, экзальтация!», – такими словами характеризует Волгин, герой написанного Чернышевским в Сибири романа «Пролог», действия республиканцев во Франции в революционном 1848 г.¹⁸ Не только экстремичность иных радикалов, но и сама революция чаще всего несёт с собою нежелательные последствия, которые, если это становится возможным, необходимо предупредить. Так, оценивая сложившуюся после старского Манифеста взрывоопасную ситуацию в стране, когда недовольство крестьян объявленными условиями воли перерастало в ряде губерний в бунты, Чернышевский пояснял в обращённых к царю «Письмах без адреса» (статью цензура запретила к печати), что «ожидаемой развязки» трепещут все общественные слои. «Не вы один, – писал он здесь, – а также и мы желали бы избежать её», поскольку справедливо негодующий народ



в своей слепой ненависти «не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию»¹⁹. Невольно напрашивается сопоставление предупреждений Чернышевского с пушкинскими опасениями «бунта беспощадного». По Чернышевскому, выход есть: опираясь на народ, вовлекая его в прогрессивные реформы, оценивать свои действия с точки зрения того, «какие преобразования материальных отношений нужны для удовлетворения потребностям беднейшего и многочисленного класса»²⁰. В этом смысле Чернышевский всегда оставался на позициях революционного демократизма, но понимаемого, однако, не как призывы к революционному восстанию и участие в сочинении подпольных прокламаций. Однажды Чернышевский сам употребил понятие «революционный демократ» применительно к характеристике политических симпатий Ж.-Ж. Руссо²¹, одного из наиболее последовательных в эпоху Просвещения пропагандистов демократических свобод и заботы о материальном положении трудовых масс.

Этот критерий сохранялся и в оценке Чернышевским марксизма. Мы не знаем прямых его отзывов об этой теории, но по дошедшим отрывочным мемуарным сведениям можно составить некоторое представление на этот счёт. Например, Чернышевский высоко оценивал историческую часть «Капитала», но в целом отзывался о сочинении критически. В этом отношении заслуживают внимание воспоминания А.А. Токарского, будущего члена 1-й Государственной думы, в молодости часто общавшегося с Чернышевским, вернувшимся из Сибири и Астрахани в Саратов. Однажды зашёл разговор о желательности открытия «закона человеческой жизни», подобно тому как «Ньютон уловил закон мироздания». На замечание, «не приближает ли нас к разрешению вопроса теория экономического материализма», под которой в те годы принято было разумеать теорию Маркса, последовал ответ: «Нет, это, может быть, материал, но не путь к разрешению вопроса»²².

Таким образом, сложившийся десятилетиями миф о прокламационных выступлениях и призывах к топору никак не увязывается с обликом подлинного Чернышевского, глубокого мыслителя и гуманиста.

Мы уже говорили, что не менее мифическими представлениями обросли суждения о знаменитом романе «Что делать?». Здесь необходимо предварительно сделать краткий экскурс в характеристику предшествовавшей написанию романа колоссальной по своей напряжённости и результативности деятельности литератора в самом широком смысле этого слова.

Его дебютом в литературе, наиболее отчётливо проявившим позицию начинающего журналиста, стала статья «Об искренности в критике» (1854), в которой, как и в других его публикациях этого времени, была заявлена актуальность критического метода Белинского 1840-х гг., строгого,

смелого, разборчивого ценителя литературы, от которой требовалось быть современной²³. В подоплёке высказываний имелись в виду близость литературы к потребностям народной жизни и противостояние теории «искусства для искусства», «чистого» искусства. Научным обоснованием этих требований явилась книга «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), выставленная в качестве диссертации для получения учёной степени магистра русской словесности. Философии Гегеля, в основе которой заложена идея развития абсолютного духа, служившей опорой сторонникам «искусства для искусства», автор диссертации противопоставил философскую систему Фейербаха с её вниманием к запросам человека. Распространяя антропологию этого философского учения на явления искусства, Чернышевский сформулировал основные положения своей эстетики: действительность выше искусства, которое, в сущности, предстаёт как её суррогат; прекрасное есть жизнь, как мы её понимаем; искусство воспроизводит всё, что есть интересного для человека в жизни; произведения искусства имеют и другое значение – объяснение жизни, часто они имеют и значение приговора о явлениях жизни; литература выступает проводником научных знаний и учебником жизни²⁴.

Отметим главную направленность этих эстетических убеждений, генетически восходящих к воззрениям Белинского 1840-х гг.: призыв к литературе быть общественно значимой и в своих изображениях критически оценивать действительность. В эпоху крепостничества подобные призывы носили, несомненно, революционный характер. Это вовсе не означало непонимание Чернышевским специфического характера искусства. Как он сам выразился однажды в письме к Некрасову в 1856 г., «поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли... Я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения. Напротив, – политика только насильно врывается в моё сердце, которое живёт вовсе не ею или, по крайней мере, хотело бы жить не ею... Тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других, – притом же, я вовсе не исключительный поклонник тенденции, – это так кажется только потому, что я человек крайних мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа мыслей»²⁵. В мировоззренческом лексиконе Чернышевского понятие «образ мыслей» имело вполне определённое содержание, связанное с целым комплексом идей, в основе которых лежала мысль о необходимости противодействия всеми средствами крепостничеству и всем его последствиям, материальным и моральным, губительным для нации.

Социальная обусловленность позиции Чернышевского-эстетика объясняет и в известной степени оправдывает категоричность и односторонность иных его заявлений. Но он вовсе не



был «разрушителем» эстетики, как полагали его оппоненты из лагеря «искусства для искусства» или из лагеря деятелей, впоследствии называвших себя его единомышленниками и наследниками, например, сотрудники «Русского слова» середины 1860-х гг. Д.И. Писарев²⁶ и особенно В.А. Зайцев, утверждавший полную бесполезность произведений художественной литературы, если они не могли быть переведены в социально-политическую плоскость²⁷.

Горячую полемику работа Чернышевского об эстетике возбудила при третьем посмертном её издании в 1893 г. Сторонники «искусства для искусства», в числе которых в ту пору выступили А.Л. Вольнский, кн. С. Волконский и П.Д. Боборыкин, буквально обрушились на Чернышевского. Автор «совершенно не владел теми эстетическими взглядами, без которых невозможны настоящие литературные оценки сколько-нибудь значительных литературных произведений», – настаивал Вольнский²⁸. Ему и другим радетелям «искусства для искусства» решительно возразил Вл.С. Соловьёв, в своей статье назвавший диссертацию Чернышевского «первым шагом к положительной эстетике». Критик посчитал принципиально важным поддержать исходный пункт эстетической системы Чернышевского: искусство находится в существенных связях с другими человеческими деятельностями. Он разделяет полемику с гегелевским определением прекрасного в трактовке Чернышевского, принимает вывод, что красота в природе имеет объективную реальность, принимает и утверждение, что существующее искусство есть лишь слабый суррогат действительности – «эти тезисы останутся»²⁹. Слово «суррогат» не вызывает у него недоверия, как в своё время у И.С. Тургенева или П.В. Анненкова³⁰. Дело в том, что оно изъято Вл.С. Соловьёвым из прежнего состава рассуждений об искусстве как учебного пособия и включено в более широкую философскую перспективу понимания искусства, служащего общим жизненным целям человечества.

Взгляды на искусство, изложенные в диссертации, получили развитие в капитальной историко-критической работе Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы». Современники по праву называли её очерками о Белинском. С опорой на великого критика автор дал бой приверженцам теории «искусства для искусства». В качестве важнейших принципов литературных суждений выдвигалось «понятие об отношении литературы к обществу и занимающим его вопросам». По глубокому убеждению автора, «только те направления достигают блестящего развития, которые находятся в живой связи с потребностями общества»³¹.

Вместе с тем, как бы в ответ на упрёки в неспособности так называемой «утилитарной» критики к эстетическим оценкам, Чернышевский в конце 1856 г. публикует блестящий эстетический разбор творчества молодого Л.Н. Толстого, тонко

и «на века» выявляя особенности психологического дарования писателя, сформулированные в определениях «диалектика души» и «чистота нравственного чувства»³².

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» и других статьях Чернышевский продолжал наращивать мощь литературно-критических идей, участвующих в неуклонно расширяющемся наступлении на идеологию и практику крепостничества.

Страстное отстаивание права человека на уважение и общественное признание, на экономическое и политическое раскрепощение одушевляло многостороннюю деятельность Чернышевского. Благодаря блестящему публицистическому дарованию, опирающемуся на глубокую образованность, Чернышевский в короткое время сделался «знаменитым», «самым крупным литературным талантом нынешней России»³³, кумиром передовой молодежи, одним из идейных руководителей русского освободительного движения. В этой связи нельзя не видеть ещё одной стороны дарования соредатора «Современника»: по словам П.Б. Струве, «главное (и огромное) значение Чернышевского для его времени коренилось в том, что он был материалист и социалист, выливший своё теоретическое и практическое миросозерцание в столь соблазнительно ясные и решительные формулы, как никто ни до, ни после него»³⁴.

Литературные, философские взгляды Чернышевского, представленные в его «фейербаховской» статье «Антропологический принцип в философии», и его концепция личности своеобразно преломились в романе «Что делать?».

Факт допущения властями к печати произведения, написанного политическим узником Петропавловской крепости, до сих пор остаётся не вполне выясненным³⁵. В массе всеразличных отзывов о романе, со времени его опубликования в 1863 г. и на многие десятилетия поделивших читателей и ценителей на сторонников и противников, затерялись некогда слышимые, участвовавшие в общем движении голоса, впоследствии напрочь изъятые из обзоров. Среди них большая статья А.М. Бухарева (архимандрита Феодора), отзыв знаменитого религиозного философа и публициста Н.А. Бердяева. С этими выступлениями в известном смысле коррелируют Н.С. Лесков и Д.И. Писарев. Были и голоса едва ли не враждебные – два обстоятельных разбора романа, выполненных А.А. Фетом (при участии В.П. Боткина) и Н.Н. Страховым.

При существенном разбросе мнений все представленные авторы единодушны в одном – в признании слабой художественности произведения. Сам Чернышевский не настаивал на художественности своего сочинения в общепринятом эстетическом содержании понятия. «Мой рассказ, – пояснял автор в «Предисловии», – очень слаб по исполнению сравнительно с произведениями



людей, действительно одарённых талантом», и «все достоинства повести даны ей только её истинностью», поэтому в ней «все-таки больше художественности, чем в них»³⁶. Приведём комментарий Писарева, не отрицающего отсутствия в «Что делать?» художественности: «Сила Чернышевского заключается не в самородном художественном таланте, а в широком умственном развитии», «оставаясь верным всем особенностям своего критического таланта и проводя в свой роман все свои теоретические убеждения, г. Чернышевский создал произведение в высшей степени оригинальное и чрезвычайно замечательное», роман «создан работою сильного ума; на нём лежит печать глубокой мысли»³⁷. Примерно о том же говорили Плеханов и Бердяев, философы разных взглядов. Выявлению художественных недостатков романа посвятил значительнейшую часть своей статьи А.А. Фет³⁸. В конечном счёте, с «оригинальностью» романа приходилось так или иначе считаться всем, кто по какому-либо поводу обращался к оценке этого произведения, «достоинства и недостатки» которого, словами Писарева, «принадлежат ему одному».

Наибольшее внимание критиками было уделено воплощённой в образной системе романа этической теории его автора, опирающейся, по формуле самого Чернышевского, на «антропологический принцип в нравственных науках» и получившей название «разумного эгоизма». Называя эту систему «этикой утилитаризма» и «плоским учением», религиозный философ В.В. Зеньковский в то же время видит то, мимо чего прошел, например, Плеханов, упрекнувший Чернышевского в излишней рассудочности этического учения и близости его к просветительству XVIII в.³⁹ Автор «Антропологического принципа в философии», проводя постоянно мысль о готовности естественных наук предоставить материалы для «точного решения нравственных вопросов» и эгоизме как основе всех корыстных и бескорыстных движений в человеке, в то же время включает в этот проблемный круг мысль о том, что эгоистический корень всех движений «не отнимает цену у героизма и благородства» и тем самым, пишет Зеньковский, «не устраняет автономии оценивающей силы духа»⁴⁰. Замечание такого рода в известной степени уточняет, скажем, высказывание Н.О. Лосского: «То, что такие люди, как Чернышевский, посвятившие всю жизнь бескорыстному служению безличным ценностям, стремились объяснить свое поведение мотивами эгоизма, часто является следствием того, что называется скромностью, которая не позволяла им прибегать к таким высокопарным словам, как “совесть”, “честь”, “идеал” и т.д.»⁴¹.

Дело, как видим, не в простой скромности, а в осознанном понимании характера выписанных в «Что делать?» «новых людей», несущих собою «образчик внутренней независимости и настоящей гармонии взаимных отношений» (Н.С. Лесков)⁴²,

образы «положительного человека», «человека вполне», «цельного и внутренне гармонического» (В.В. Зеньковский).

Еще в 1856 г. Чернышевский в рецензии на стихотворения Огарёва, рассуждая по поводу нового героя в литературе, последователя Печорина, Бельтова и Рудина, писал: «Мы ждём ещё этого преемника, который, привыкнув к истине с детства, не с трепетным экстазом, а с радостной любовью смотрит на неё, мы ждём такого человека и его речи, бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слышались бы не робость теории перед жизнью, а доказательство, что разум может властвовать над жизнью, и человек может свою жизнь согласить с своими убеждениями»⁴³. «Жизнь согласить с своими убеждениями» – как раз то, что составляло смысл нравственной программы самого Чернышевского и что отмечали его современники. Для «новых людей» в «Что делать?» характерно именно это качество.

В разработке типа положительного героя автор «Что делать?» находил материал не только в собственной биографии и жизни некоторых близких ему лиц. Ранее Чернышевского основные черты «новых людей» и принципы их нравственного поведения сформулировал Н.А. Добролюбов. В статье «Когда же придет настоящий день?», написанной за несколько лет до «Что делать?», находим даже само определение – «новые люди». Чернышевский ввёл его в подзаголовок к названию своего романа, и этому определению суждено было стать устойчивым историко-литературным термином.

В статье о Тургеневе и в ряде некоторых других работ Добролюбов дал развернутую характеристику «новых людей», будущих героев в жизни и литературе. Собранные вместе, эти высказывания-размышления образуют своеобразный нравственный кодекс, получивший развитие в художественной системе романа «Что делать?». Вот что о «новых людях» писал Добролюбов:

Они рано приучают себя к «самостоятельному размышлению, к сознательному взгляду на всё окружающее». Это «люди цельные, с детства охваченные одной идеей, сжившиеся с ней так, что им нужно – или доставить торжество этой идее, или умереть». Они имеют силы отречься «от целой массы понятий и практических отношений, которыми они связаны с общественною средою», им свойственна «энергическая попытка для исправления пошлой среды». Для них характерно «полное соответствие практической деятельности с теоретическими понятиями и внутренними порывами души», у них «слово не расходится с делом». Они испытывают «любовь к истине и честность стремлений», «боль – о чужом страдании», их «переполняет жажда деятельного добра», и они способны «добро делать по влечению сердца, а не потому, что надо делать добро». Они полны ненависти ко всякому насилию, произволу



и стремятся «борьбою помочь слабым и угнетённым». Они не боятся «желать себе счастья», ищут «возможности устроить счастье вокруг себя», не думают «ставить своё личное благо в противоположность со своей жизненной целью». Для них «самоотвержение» существует «как удовлетворение потребности сердца, а не как формальное исполнение какого-то внешнего, сурового предписания». Наконец они никак не могут «понять себя отдельно от родины»⁴⁴.

Заметим, что именно таковы «новые люди» в романе «Что делать?». Они честны, полны жажды деятельного добра, не мыслят личного счастья без счастья других. Грубому эгоизму, которым зачастую охвачен тёмный, непросвещённый человек, представитель старого мира, заботящийся только о себе и готовый пренебречь интересами окружающих, «новые люди» противопоставили эгоизм «разумный», эгоизм просвещённого человека, желающего себе выгоды, но не за счёт ближнего. Нравственная чистота «новых людей», призыв к человеку становиться добрее и в то же время непримиримее ко злу и пошлости, согласовать свои убеждения с поступками – таковы исходные начала нового литературного типа, о котором размышляли наши писатели-демократы.

Развернутая в суждениях и поступках персонажей «Что делать?» теория «разумного эгоизма» истолкована через призму христианских (общечеловеческих) ценностей религиозным философом А.М. Бухаревым. «С таким эгоистическим расчётом можно и не отказываться от добродетели и нравственности», – отмечает он. В своей оценке «Что делать?» Бухарев исходит из мысли, что догматы истины Христовой своеобразно прорастают в романе Чернышевского, у которого «удивительное на это чутьё». Роман так построен, что «лучшее в нём есть почти только ещё намёк, предощущение истины, инстинктивное увлечение в пользу истины, в ущерб собственной теории романиста». Христианскую мораль критик извлекает из описаний мастерских и утопических страниц романа.

Философски обобщая в своём, христианском смысле авторские изображения взаимоотношений Лопухова, Веры Павловны, Кирсанова и Екатерины Полозовой, Бухарев писал о романе: «Не могу не видеть в нём замечательного выражения русской мысли, неудержимо рвущейся к свету истины»⁴⁵. Эта оценка была энергично поддержана Бердяевым, уделившим Чернышевскому содержательные страницы в историософском исследовании русской идеи. «Роман Чернышевского, – по убеждению Бердяева, – всё же очень замечателен и имел огромное значение. Это значение было, главным образом, моральное. Это была проповедь новой морали. Роман, признанный катехизисом нигилизма, был оклеветан представителями правого лагеря, начали кричать о его безнравственности те, кому это менее всего

было к лицу. В действительности, мораль «Что делать?» очень высокая». И далее следует ссылка на Бухарева, признавшего роман «христианской по духу книгой»⁴⁶.

Поддержка «разумного эгоизма» сближает Бухарева с мнением Писарева, идейного единомышленника Чернышевского, к каковому Бухарев, конечно, не относился. «В жизни новых людей, – говорил Писарев в своей статье 1865 г. о романе «Что делать?», – не существует разногласия между влечением и нравственным долгом, между эгоизмом и человеколюбием; это очень важная особенность».

В характеристике «новых людей» Бухарев близок и к Н.С. Лескову, записанному некоторыми историками литературы чуть ли не во враги Чернышевского. Он писал в 1863 г., в год опубликования «Что делать?», что в «новых людях», предлагающих свое понимание взаимоотношений, ему видится «бескорыстие, уважение к взаимным естественным правам, тихий верный ход своею дорогою, никому не подставляя ног», и их «по моему мнению, – убеждал Лесков, – лучше бы назвать “хорошие люди”...»⁴⁷

Другой критик был иного мнения и назвал их иронично «счастливые люди», и вся его статья пронизана сарказмом⁴⁸. Ф.М. Достоевский вспоминал об этой статье Н.Н. Страхова, которую прочитал в рукописи, как «замечательной», поскольку в ней «именно отдаётся всё должное уму и таланту Чернышевского. Собственно об романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался. Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума, но уже самая серьёзность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им автора»⁴⁹. Достоевский запомнил, статья Страхова не стала «нашей», она не появилась в только что закрывшемся журнале Достоевского и была опубликована в 1865 г. в «Библиотеке для чтения». Достоевский, вероятно, держал в руках несколько иную редакцию статьи, и Страхов передал в «Библиотеку для чтения» подправленный вариант, не во всём совпадающий своими характеристиками романа и его автора с первоначальным текстом.

По духу и приемам полемики этот разбор смыкается со статьей Фета, с откровенно неприязненным вплоть до враждебности выступлением Ф.М. Толстого в «Северной пчеле»⁵⁰, получившим своего рода отповедь Н.С. Лескова, а также с воинствующей позицией опровергателя эстетики Чернышевского А.Л. Вольнского, пока его не одёрнул Вл.С. Соловьев.

Идейный пафос выступления Фета, писавшего при участии В.П. Боткина, составило неприятие социальных идей автора «Что делать?» и связанных с ними утопических страниц романа. В этой критике содержалось немало верных замечаний, но в целом она была далека от объективного разбора.



Как видим, Бухарев и Бердяев, по своему мировоззрению стоявшие, подобно Фету и Боткину, далеко от взглядов Чернышевского, всё же находили возможным объективно оценить его значение как автора некогда нашумевшего романа, глубоко нравственного в своей основе и на этой линии получающего некоторые точки соприкосновения с общечеловеческими моральными ценностями. Оба ценили в романе и в его авторе, говоря словами Бухарева, «замечательное выражение русской мысли», оба убеждены, что, по словам Бердяева об авторе «Что делать?», «глубина его нравственной природы внушала ему очень верные и чистые жизненные оценки. В нём была большая человечность, он боролся за освобождение человека. Он боролся за человека против власти общества над человеческими чувствами»⁵¹.

Завершим статью двумя высказываниями философов, не разделявших убеждений Чернышевского, но сумевших точно и объективно его оценить.

В.В. Зеньковский: «Чернышевского часто и охотно стилизовали различные течения русского радикализма, но сам он был шире тех рамок, в которые его вставляли»⁵².

Вл.С. Соловьёв: «...Все сообщения печатные, письменные и устные, которые мне случилось иметь об отношении самого Чернышевского к постигшей его беде, согласно представляют его характер в наилучшем свете. Никакой позы, напряжённости и трагичности; ничего мелкого и злобного; чрезвычайная простота и достоинство. В теоретических взглядах Чернышевского (до катастрофы) я вижу важные заблуждения; насколько он их сохранил или покинул впоследствии, я не знаю. Но нравственное качество его души было испытано великим испытанием и оказалось полновесным. Над развалинами беспощадно разбитого существования встаёт тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека»⁵³.

Примечания

- ¹ Некрасов Н.А. Последние песни. М., 1974. С. 6.
- ² Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1964. Т. XVIII. С. 286.
- ³ Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. / Общ. ред. Ю.Г. Оксмана. Саратов, 1958–1959. Т. 1. С. 157.
- ⁴ Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях современников / Сост. Е.И. Покусаев и А.А. Демченко. М., 1982. С. 174. Далее: *Воспоминания 1982*.
- ⁵ *Вольнский А.Л.* Русские критики. Литературные очерки. СПб., 1896. С. 262.
- ⁶ См.: *Скафтымов А.* Жизнь и деятельность Н.Г. Чернышевского. 2-е изд. Саратов, 1947; *Покусаев Е.И.* Н.Г. Чернышевский: Критико-биографический очерк. Саратов, 1953. Книга переиздавалась в 1955 г.

(Саратов), 1960 (Москва), 1967 (Саратов), 1976 (Москва).

- ⁷ *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1939–1953. Т. IV. С. 9. Далее: *ПСС*.
- ⁸ См.: *Стеклов Ю.М.* Решённый вопрос: Экспертиза по делу Н.Г. Чернышевского // Красный архив. 1926. Т. 6(25). С. 135–161; Дело Чернышевского: Сб. документов / Подгот. текста, введ. статья и коммент. И.В. Пороха; Общ. ред. Н.М. Чернышевской. Саратов, 1968. С. 261–263; *Любарский В.* Чернышевский опровергает // Советская юстиция. 1988. № 3. С. 16–18.
- ⁹ См. материалы обсуждения вопроса об авторстве Чернышевского: Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1971. Вып. 6. С. 173–222.
- ¹⁰ Подр. см.: *Демченко А.А.* Н.В. Шелгунов о Чернышевском: критический анализ мемуарного источника // Наследие революционных демократов и русская литература. Саратов, 1981. С. 303–311.
- ¹¹ *Соловьёв Вл.С.* Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский // Письма Владимира Сергеевича Соловьёва / Под ред. Э.Л. Радлова. СПб., 1908. Т. I. С. 271–282.
- ¹² Колокол. 1860. 1 марта. Л. 64. С. 535.
- ¹³ См.: *Порох И.В.* Герцен и Чернышевский. Саратов, 1963. С. 145–146.
- ¹⁴ См., напр.: *Емельянов Б.В.* Избранные страницы русской философии. Екатеринбург, 2007. С. 119.
- ¹⁵ *ПСС*. Т. XI. С. 145; *Володин А.И., Карякин Ю.Ф., Плимак Е.Г.* Чернышевский или Нечаев? О подлинной и мнимой революционности в освободительном движении России 50–60-х годов. XIX века. М., 1976. С. 171–173.
- ¹⁶ *Воспоминания 1982*. С. 315.
- ¹⁷ Там же. С. 188–189.
- ¹⁸ *ПСС*. Т. XI. С. 54.
- ¹⁹ *ПСС*. Т. X. С. 92.
- ²⁰ *ПСС*. Т. VII. С. 156, 178.
- ²¹ Там же. С. 223.
- ²² *Воспоминания 1982*. С. 433.
- ²³ *ПСС*. Т. II. С. 255, 382.
- ²⁴ Там же. С. 80–92.
- ²⁵ *ПСС*. Т. XIV. С. 322.
- ²⁶ *Писарев Д.И.* Соч.: В 4 т. М., 1955–1956. Т. 3. С. 420, 422.
- ²⁷ *Зайцев В.А.* Избр. соч.: В 2 т. М., 1934. Т. 1. С. 307.
- ²⁸ *Вольнский А.* Литературные заметки // Северный вестник. 1893. № 1. Отд. 2. С. 131.
- ²⁹ *Соловьёв Вл.* Первый шаг к положительной эстетике // Вестник Европы. 1894. № 1. С. 302.
- ³⁰ *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960–1968. Письма. Т. II. С. 300–301, 565; *Зельдович М.Г.* Страницы истории русской литературной критики. Харьков, 1984. Глава «Диссертация Н. Чернышевского и общественно-литературное движение его времени». С. 4–47.
- ³¹ *ПСС*. Т. III. С. 299.
- ³² Там же. С. 423, 427.
- ³³ *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. Т. XVIII. С. 234.



- ³⁴ Струве П.Б. Patriotika: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 187.
- ³⁵ См.: Пинаев М.Т. Загадка издательского феномена романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» // Волга. 1986. № 4. С. 181–191; Демченко А.А. Писатель – журнал – власть: Из цензурной истории романа «Что делать?» // Цензура как социокультурный феномен: Науч. докл. / Отв. ред. И.Ю. Иванюшина. Саратов, 2007. С. 71–84.
- ³⁶ ПСС. Т. XI. С. 11.
- ³⁷ Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 9.
- ³⁸ Фет А.А. Соч. и письма: В 20 т. СПб., 2006. Т. 3. С. 195–259.
- ³⁹ Плеханов Г.В. Избр. филос. произв.: В 5 т. М., 1958. Т. IV. С. 257, 300.
- ⁴⁰ Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. Л., 1991. Т. 1. Ч. 2. С. 137.
- ⁴¹ Лосский Н.О. История русской философии. Л., 1991. С. 70.
- ⁴² Лесков Н.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1956–1958. Т. 10. С. 21, 22.
- ⁴³ ПСС. Т. III. С. 568.
- ⁴⁴ Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1961–1964. Т. 2. С. 389, 547; Т. 6. С. 101–110, 120, 127, 139–140.
- ⁴⁵ Архимандрит Феодор (А.М. Бухарев). О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской: Сборник разных статей. М., 1991. С. 146, 147 (Сер. «Русские духовные писатели»).
- ⁴⁶ Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. М.; СПб., 2005. С. 624, 625.
- ⁴⁷ Лесков Н.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 21, 22.
- ⁴⁸ Страхов Н.Н. Счастливые люди // Страхов Н.Н. Из истории литературного нигилизма. 1861–1865. СПб., 1890. С. 309–342.
- ⁴⁹ Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1972–1991. Т. XXI. С. 29, 30.
- ⁵⁰ Ростислав <Толстой Ф.М.> Лжемудрость героев Чернышевского // Северная пчела. 1863. № 142.
- ⁵¹ Бердяев Н.А. Русская идея. С. 625.
- ⁵² Зеньковский В.В. История русской философии. Т. 1. ч. 2. С. 142.
- ⁵³ Соловьёв Вл.С. Из литературных воспоминаний. Н.Г. Чернышевский. С. 282.

УДК 821.161.1.09+929 [Полевой+Григорьев]

Н.А. ПОЛЕВОЙ В «МОИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ СКИТАЛЬЧЕСТВАХ» А.А. ГРИГОРЬЕВА (1862–1864)

О.Я. Гусакова

Педагогический институт Саратовского государственного университета, кафедра начального языкового и литературного образования
E-mail: Philology@sgu.ru

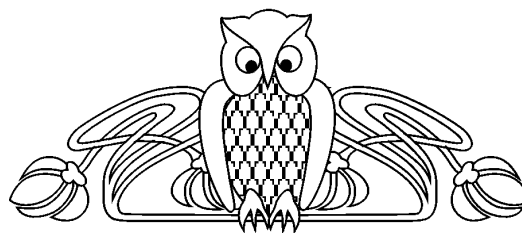
Предлагаемая статья входит в серию статей под общим названием «Творческий портрет Н.А. Полевого в литературных воспоминаниях 1850-х – начала 1860-х гг.», уже опубликованных в разных научных изданиях. Широко известные мемуары этого периода создают единый историко-литературный контекст с литературной критикой А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского и А.В. Дружинина, с новых, современных позиций подводившей в середине столетия итоги тридцатилетнему развитию русской литературы.

Ключевые слова: критика, романтизм, историзм, мемуары, литературные аристократы, литературный журнал, рецензия.

N.A. Polevoy in «My Literary and Moral Wanderings» by A.A. Grigoryev

O. Ya. Gusakova

The article belongs to a series of articles entitled «The portrait of N.A. Polevoy in literary memoirs of the 1850-s – early 1860-s», already published by different scholarly publications. Well-known memoirs from the period, together with criticism by Gerzen, Chernyshevsky, and Druzhinin, constitute a new literary-historical context which enabled a mid-XIX-th century reassessment of the previous thirty years of Russian literary history.



Key words: criticism, Romanticism, historicism, memoirs, aristocrats in literature, literary magazine, review.

В середине 1850-х г. возникла настоятельная и всеобщая потребность осмыслить итоги развития литературы предшествующего периода. В этих условиях стала закономерной и необходимостью обращения к наследию Николая Алексеевича Полевого – одного из «предводителей в литературном и умственном движении» (Н.Г. Чернышевский) первой трети XIX в.

Н.Г. Чернышевский первым после В.Г. Белинского поставил вопрос об исторической роли Н.А. Полевого. В ряде статей, рецензий 1854–1855 гг. и в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855–1856) критик остановился на ключевых моментах его деятельности, дал высокую оценку Полевому – журналисту и критику. В этих аспектах издатель «Московского телеграфа» предстал как необходимый участник общественно-литературного процесса 1820–1830-х гг., как предшественник Белинского и как критик, принципы которого имеют значение и для современной критики, и для ее будущего.



Вместе с тем тенденциозность большинства оценок Чернышевского не позволяет говорить об исторически объективном изображении критической деятельности Н.А. Полевого. «Закон исторической перспективы» побуждал его отыскивать в деятельности журналиста прежде всего то, в чем он продвинулся вперед сравнительно со своими предшественниками и современниками и чем подготовил будущее. Поэтому Чернышевский не задерживался на падениях Полевого, а также уклонился от рассмотрения вопроса об отношениях Полевого и Белинского в конце 1830-х – начале 1840-х гг.

«Очерки» Чернышевского как бы отделили 1830–1840-е гг. чертой завершенности. Однако вопрос об интерпретации истории русской литературы и критики, ставший в середине века особенно актуальным, не решается на материале одного только «Очерков». Вместе с широко известными работами Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена, А.В. Дружинина необходимость подвести итоги идейно-литературному развитию 1830–1840-х гг. и определить историческое значение виднейших деятелей этого периода отражали литературные воспоминания 1850-х – начала 1860-х гг. Обостренное стремление осмыслить свою жизнь во взаимодействии с лучшими представителями своего и предшествующего поколения сочеталось в них со стремлением найти в этом процессе отражение важных общественных проблем, поставленных эпохой, и вытекающих для современности уроков.

Воспоминания А.А. Григорьева о Полевом и обо всем, что связано с ним, интересны прежде всего тем, что принадлежат человеку, который был воспитан в романтической атмосфере, в эпоху «сереньких тоненьких книжек «Телеграфа» и «Телескопа», долга дочитываемых молодежью 30-х годов», и в 1860-е гг. оставался живым свидетелем «какого-то беззаветного упоения поэзией, какой-то дюжинной веры в литературу», привитыми «Московским телеграфом» в период его счастливого признания всей образованной публикой в пределах двух столиц государства Российского¹.

По молодости лет мемуарист не мог быть сам свидетелем бурной популярности Полевого, но с теплотой рассказывая о своем наставнике и учителе Сергее Ивановиче Лебедеве, он передает, с каким азартом говорилось в кружке товарищей Сергея Ивановича о «самоучке» Полевом и его журнале с романтическими стремлениями. Сама смутность, с которой разбирался юный Григорьев в беседах и спорах старших, рождала типически григорьевское ощущение времени, в невидимом потоке которого слышались имена «лорд Байрон» и «Александр Пушкин». И в ранних литературных впечатлениях, при всей их наивности, отразилась свежесть григорьевского восприятия жизни и культуры.

«Мои литературные и нравственные скитальчества» Григорьев начинает с тесного сплава

личных впечатлений и объективного духа исторических событий: «... я вполне сын своей эпохи и мои литературные признания могут иметь некоторый литературный интерес» (с. 7). Однако в дальнейшем историческое как бы приподымается (за некоторыми исключениями²) над личным: «Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объекта, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя как на одного из сынов известной эпохи, и, стало быть, только то, что характеризует эпоху вообще, должно войти в мои воспоминания; мое же личное войдет только в той степени, в какой оно характеризует эпоху» (с. 10). С объективно-исторических позиций Григорьев пытается рассмотреть и деятельность Н.А. Полевого. Замечательно, что именно в главе «Литературные стремления начала тридцатых годов», посвященной Полевому и его «Московскому телеграфу», он вновь в еще более лаконичной форме подчеркивает специфику своего реалистического метода: «Да! исторически живем не «мы как индивидуумы», но живут «веяния», которых мы, индивидуумы, являемся более или менее значительными представителями...» (с. 46).

Григорьев почти избегает описаний событий личной жизни Полевого, объективно, хотя, по выражению Б.Ф. Егорова, и не без «отдельных кратких разливов субъективного чувства», повествует главным образом о том, какое сильное идеологическое и эстетическое воздействие на поколение 1830-х гг. оказал его «Московский телеграф». В этой объективированности, при всех романтических ореолах, справедливо принято усматривать влияние и эпохи вообще и исторической концепции Герцена, назвавшего «Былое и думы» отражением «истории в человеке», в частности³.

С произведением Герцена «Мои литературные и нравственные скитальчества» сближает и глубокий демократизм, с особой силой сказавшийся в оценке деятельности Полевого и Надеждина и в яростно-ненавистном отношении к врагу Н. Полевого – М.А. Дмитриеву.

Полевой был близок Григорьеву своим купеческим происхождением⁴, и критик с явным неодобрением отзывается обо всех, будь то бесильные старцы или литературные аристократы, кто презрительно «с пеной у рта» звали его «купчишка Полевой» и не могли по достоинству оценить демократической направленности его журнала. Григорьев издается над старичками «карамзинского» воспитания, которые, с его точки зрения, совершенно не понимали идеалов и вкусов молодежи 1830-х гг., дает уничижительные, резкие характеристики аристократов, группирующихся около Жуковского и Пушкина.

Заметим, что самого Пушкина Григорьев изображает держащимся в стороне от борьбы литературных аристократов с Полевым, мотивируя это тем, что в поклонении поэту («общему идолу»)



журнал Полевого не перещеголял никто и что даже во времена борьбы с литературными аристократами стихотворения поэта и его друзей продолжали появляться в «плебейском» «Телеграфе». При этом обходится молчанием факт публикации отрицательной рецензии Пушкина на первый том «Истории русского народа» Полевого в «Литературной газете» Дельвига в 1830 г., а также ряда статей П.А. Вяземского, направленных против Полевого. Правда, упрекая Полевого за мелочную и легковесную полемику с Карамзиным, Пушкин был недоволен также мелочными и грубыми рецензиями на его труд, написанными М.П. Погодиным и Н.И. Надеждиным. Это, видимо, и явилось причиной «забывчивости» Григорьева.

Претензии на литературное аристократство стали главной причиной неприятия Григорьевым оценки литературно-критической деятельности Полевого в «Литературных и театральные воспоминаниях» С.Т. Аксакова. Считая книгу Аксакова в общем «искренней и талантливой» (с. 51), Григорьев гневно нападает на него за то, что он в своих воспоминаниях цитирует пошлые куплеты водевилиста А.И. Писарева⁵, «с самых низменных точек громающего популярного “журналиста-купчишку”». Позицию критика нельзя не принять, ведь грубому осмеянию подвергался Полевой периода «Московского телеграфа», когда он (и никто другой) по праву назывался «жадным и смелым ловцом всего нового», «зорким сторожем прогресса», «громителем всяческой рутины».

В высокой оценке Григорьевым деятельности Полевого конца 1820-х – начала 1830-х гг. нет никаких сомнений: «У тогдашнего молодого поколения, – писал он, – есть предводитель, есть живой орган, на лету подхватывающий жадно все, что носится в воздухе, даровитый до гениальности самоучка, легко усвояющий, ясно и страстно передающий все веяния жизни, увлекающийся сам и увлекающий за собою других» (с. 92–93). Гениальным, кажется, Полевого не называл еще никто. Но вряд ли стоит упрекать критика в излишней эмоциональности. Столь благосклонный с его стороны отзыв о литераторе давно прошедших времен лишь доказывает то, что и в зрелый период своей жизни Григорьев не только называл себя «последним романтиком»⁶, но и во многом был вполне человеком 1830-х гг., поскольку никогда позже так не ценили способность человека к самосовершенствованию, как в те романтические времена. Кроме того, способность Полевого передавать «все веяния жизни» и есть то главное в нем, что позволяет действительно объективно отнестись и к его личности, и к той роли, какую ему на самом деле пришлось выполнять в истории литературы, не навязывая ему чужих ролей и тем самым снимая с него незаслуженные обвинения в том, что он плохой критик или писатель, бог весть какой теоретик и мыслитель. Осуждать Полевого за то, что он не оправдал чьих-то на-

дежд по меньшей мере нелепо, поскольку он и не собирался быть ни тем, ни другим, и талант его, как замечательно показал в своих «Записках» Кс. Полевой, совсем иного рода.

Причину необыкновенного успеха «Московского телеграфа» у молодежи 1820–1830-х гг. Ап. Григорьев, разумеется, справедливо видит в том направлении, которое избрал для него его редактор: журнал ставил своей целью и на самом деле отражал важнейшие «веяния» своего времени – трансцендентализм, «уносивший за собою все, что способно было думать», и романтизм, «уносивший за собою все то, что способно было чувствовать» (с. 46). «Статьи о Гете, о Байроне и других корифеях современной тогдашней литературы, – писал Григорьев в воспоминаниях, – ознаменовали читателей с судьбами литератур романтических, культ Шекспиру, Данту <...>, перевод Гофмана, разбор всего нового в юной французской словесности, смелое благоговение перед Гюго, наконец, возможные толки о государственных устройствах цивилизованных народов и посильное, положим хоть и по Кузену, толки о Канте, Фихте, Шеллинге и Гегеле, перехват всякой новой живой мысли, сочувствие всякому новому явлению в жизни и искусстве, азартное увлечение всяким новым мировым веянием, – вот что такое “Телеграф”...» (с. 52).

Особое место среди публикаций журнала занимали материалы по истории. Автором некоторых из них был сам Полевой. Григорьев довольно высоко ценил в нем историка и был одним из немногих критиков, кто считал нападки на Полевого после опубликования им «Истории русского народа» слишком грубыми и не вполне справедливыми. Он с негодованием отзывался о «Московском вестнике» Погодина, старавшемся в своей ожесточенной вражде к Полевому перещеголять «площадным цинизмом» статей об «Истории русского народа» старцев и самый «Вестник Европы». «Нельзя было бы ничего неприличнее, с нашей теперешней точки зрения, – писал Григорьев, – вообразить себе той статьи, которой разразился против «Истории русского народа» редактор «Московского вестника», если бы еще неприличнее не были статьи против нее в старческом «Вестнике Европы» (с. 48). Еще «неприличнее» были статьи Н.И. Надеждина в «Вестнике Европы» за 1830-й г.⁷, действительно содержащие еще более грубые, чем рецензии Погодина, нападки на Полевого за антикарамзинский дух его книги и за эклектизм, за «нахватанность» у других авторов идей и фактов.

Высказывания Григорьева относительно отзыва «Московского вестника» на труд Полевого тем более интересны, что они лишены предвзятости по отношению к участникам споров 1830-х гг. Автором статьи в «Московском вестнике» был также достойный литератор, несмотря «на чрезмерное увлечение своими страстями и неразборчивость насчет средств их выражения»,



– М.П. Погодин. Войну двух журналистов Григорьев склонен считать драматическим обстоятельством, так как ни тот, ни другой, по его словам, не был виноват в том, что захваченные разными «веяниями», они «враждебно стояли друг против друга» (с. 49). Через тридцать лет после жарких литературных сражений, о которых идет речь, Григорьев хорошо понимает, что теперь, конечно же, легко «произносить суд» над противниками, потому что кажется, что им нечего было делить, равно как теперь легко смеяться и над посвящением «Истории русского народа» Нибуру, и над культом, который «совершаем был Карамзину его последователями» (с. 49).

В 1830-е гг. «История русского народа» Полевого, с точки зрения Григорьева, имела важное положительное во многих отношениях значение. Она была написана человеком не только отзывчивым на требования современной ему жизни, купцом по происхождению, но и «в высшей степени русским человеком» («народным человеком»), «как святыню, дорожившим всякою старою грамотою, всякою песнию народа» (с. 52).

Видя в издателе «Телеграфа» борца за идею народности, Григорьев неустанно пытается доказать, что он понимал ее несравненно шире не только А.А. Шаховского (не говоря уж о Писареве с Кокошкиным), но и таких «серьезных, народных людей», как М.П. Погодин, М.Н. Загоскин и С.Т. Аксаков. Тем, кто забыл, он напоминает о том, что прежде чем стать автором комедии о войне Федоськи Сидоровны с китайцами, «Параши Сибирячки», «Ермака» и проч., популярный журналист опубликовал целый цикл исторических повестей, в том числе и «Повесть о Симеоне, Суздальском князе» (1828), «смелый по тому времени протест за удельных и удельщину», а также роман «Клятва при гробе господнем» (1832), в котором им была предпринята попытка проникнуть своим воображением в отдаленную эпоху «изначальной», дохристианской Руси (Там же). Все эти произведения, наряду со статьями, рецензиями и пародиями в «Московском телеграфе», безжалостно разбивали в прах народность в дюкре-дюменилевском духе, лучшим образцом которой была драма А.А. Шаховского «Двумужница»⁸, а также народность в духе псевдопатриотической драмы Н.В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла».

«Правильному», т.е. современному, демократическому, чувству национальности, которым вполне владел Полевой, необходимо было, считает Григорьев, на время отнестись «совершенно отрицательно к художественной постройке нашего исторического быта Карамзиным по одной, абсолютно-государственной идее – и Полевой явился в своей истории и в своих романах представителем этой отрицательной потребности: он начал работу, которая до сих пор еще не кончена, да еще и не скоро кончится» (с. 57).

Однако, считая труд Полевого важным явлением, Григорьев не закрывал глаза и на «отрицательное» его значение. Он видел в появлении «Истории русского народа» в противовес «Истории государства Российского» определенную закономерность. И дело здесь не только в обычной логике: если есть история государей, должна быть и история народа, но и в том, что «История» Полевого была «началом исторических отрывков местностей, национальностей, толков, поправленных Карамзиным во славу его абсолютной государственной идеи» (с. 52).

Обращение Полевого в своей литературной практике к историческим жанрам Григорьев совсем не склонен был объяснять одной приверженностью романтизму. Он видел здесь прежде всего стремления гражданина и патриота к художественному воплощению идеи о национальной самобытности русской литературы, к созданию народного характера и, таким образом, точно определял своеобразие направления исторической прозы Полевого, которое в современной науке обозначено как «нравственное». Нравственный критерий, действительно, являлся для Полевого главным в художественном познании и отражении прошлого, так как в прошедшем люди ищут уроков для настоящего, «воспоминаниями о неизбежной мести пороку и, награде добродетели, рассказами о доброте и величии предков они хотят учить современное поколение, кажущееся ничтожным против того идеала, который находили они в прошедшем»⁹. От писателя, таким образом, требовался не просто достоверный, но и поучительный рассказ о прошлом.

Вместе с тем Григорьев полагал, что, находясь во власти этих стремлений, Полевой не в силах был с надлежащей строгостью оценить всякого рода попытки создания исторического романа, в том числе и «даровитой по тогдашнему времени» (и «даже с теперешней точки зрения») и так вдохновившей его попытки М.Н. Загоскина. Отзыв Полевого о «Юрии Милославском» представлялся Григорьеву недостаточно взыскательным, во-первых, потому что после появления «пресловутого» романа не произошло никакого переворота в литературных понятиях, а во-вторых, сам Полевой, на его взгляд, в ту пору своим пониманием народа и его истории стоял «несравненно выше», чем первый русский романист. И только впоследствии, да и то «искусственно», дошел в своих драмах до той «квасной кислоты и нравственной сладости», которая господствует в романах Загоскина» (с. 54). Историческую прозу Полевого выше исторических романов Лажечникова, Булгарина и Загоскина ценил и Белинский.

Несмотря на все сказанное, было бы заблуждением обвинять автора «Моих литературных и нравственных скитальществ» в положительной односторонности оценки им деятельности Полевого. Григорьев в одно и то же время и совре-



менник Чернышевского, и свидетель нескольких литературных эпох, каждая из которых из-за дали прошедшего отстоялась в его сознании, превратилась в «отдельное органическое целое». Он пережил то время, когда Полевой, с его точки зрения, именно в силу того что когда-то был представителем современных животрепещущих интересов жизни, превратился в человека отсталого и скоро «сбрэндил до непонимания высшей сферы пушкинского развития», а его враги, напротив, казавшиеся отсталыми тридцать с лишним лет тому назад, «шли неуклонно вперед и выродились, наконец, в явно торжествующее во множестве пунктов славянофильство» (с. 96).

Одним словом, Григорьев не торопился совсем становиться на сторону Полевого. Он все помнил, все держал в уме, постоянно имея в виду, что Полевой еще напишет драмы в духе фальшивого патриотизма, что сама борьба, поднятая им против абсолютно-государственной идеи Карамзина, закончится «хохлацким жартом над русской историей». Не забыл Григорьев Полевому и поклонения Гюго и Марлинскому, и «абсолютного непонимания всего нового и живого, начиная с самого Гоголя» (с. 58). Все это учитывал Григорьев, так как «процесс литературных стремлений» понимался им как процесс «органический», и, присматриваясь к «данной минуте», т.е. к деятельности Полевого в 1830-е гг., он пытался разглядеть, «нет ли уже в ней самой зачатков плана разложения». И отвечал самому себе, что есть, и «есть несомненно». Мало того, порой он противоречит самому себе, и ему начинает казаться, что Полевой и его направление «действительно отражали в себе как в зеркале все современные веяния, но отражали безразлично, поверхностно, почти что бессознательно» (с. 58).

Печальным следствием воспитания этим бессознательно отраженным направлением, в предостережении Григорьева, стало разделение молодежи тридцатых годов на две части: одну – меньшую, которая «шла в глубь дела, принимала веяния всерьез, переводила их в жизнь и скоро ощущала страшное неудовлетворение поверхностным отражением», а другую, конечно, «многочисленную», которая совершенно довольствовалась верхами и, «вероятно, доселе свой век доживает в безразличном поклонении романтизму». Та и другая молодежь рассматривалась Григорьевым как «два фазиса» русского романтизма, совершенно отличного от европейского тем, что он всякую мысль, как бы она ни была дика или смешна, доводит до самых крайних граней, и притом на деле.

Направление «Телеграфа» и общий уровень тогдашней литературы, отмечает Григорьев, мало удовлетворяли людей «чисто русского закала», «с серьезной жаждой мысли и жизни». «Праздношатательство, эпикурейство, весьма притом дешевые, луна, мечта, дева <...>, – иронизировал он, – проповедуемые в поэзии сателлитами Пуш-

кина и всякими виршеплетами в бесчисленных альманахах; немецкий сентиментализм, который стал скоро примешиваться в повестях Полевого и других к лихорадочно-тревожным веяниям и вел совершенно последовательно к знаменитому приторно мещанскому эпилогу «Аббадонны», – все это могло удовлетворить окончательно только ту молодежь, которая <...> в сущности переводила романтические стремления на *суть* знаменитой песни:

Для любви одной природа
Нас на свет произвела,

да уездных или замоскворецких барышень, которые все ожидали, что в последней главе «Онегина» явится опять не убитый им и только почтенный убитым Ленский и соединится с овдовевшею Ольгой, равномерно как Онегин с Татьяной» (с. 59).

Явно утрированные по отношению к содержанию произведений автора «Аббадонны» слова и резкая оценка эпилога романа заметно выбиваются из общего доброжелательного тона воспоминаний Ап. Григорьева о Полевом. Причина проста. Григорьев обеспокоен тем фактом, что крайности романтизма продолжают здравствовать и в современной ему литературе. «Уцелевшими мумиями Полевого и его направления» называет Григорьев произведение Н.П. Жандр («Свет», 1857) и М.В. Воскресенского («Наташа Подгорич», 1858 и др.). «Тридцатые годы, – замечает он, – совершенно как были, вдруг взлетают перед вами запоздалым явлением, – совсем как были, с личностями непризнанных поэтов, воздушных графинь или княгинь, с речами а la Марлинский...» (с. 60).

Таким образом, в самом же Полевом и в направлении литературы, которого он был «горячим и даровитым», но «совершенно слепым вождем», Григорьев видел причину их «крайне пустого будущего». С высоты шестидесятых ему хорошо было видно, что литература уже в конце двадцатых годов «разменивалась на пошлейшие альманахи». Пушкин начинал уже «отвертываться» и «уходить в самого себя». Полевой уже «подавал руку Булгарину» и «начинал не понимать Пушкина» (Там же).

Камнем преткновения для самого Полевого, как и для многих, следовавших за ним, стал во всей своей «величавой целостности» «Борис Годунов». «“Борис”, – писал Григорьев, выдвинул ярко другого литературного деятеля – Н.И. Надеждина. Ему суждено было ответить потребностям серьезной молодежи, положить основы дальнейшему ходу критического сознания и, кроме того, воспитать настоящего вождя нового поколения, Виссариона Белинского» (с. 60)¹⁰.

И все же, оглядываясь назад, А.А. Григорьев замечает, что в конце 1820-х – начале 1830-х гг., несмотря на то что «на сцене» уже появилась «великая и вполне уже почти очерченная физиономия первого цельного выразителя нашей сущности»



(с. 47) – Пушкина, нечего было противопоставить живому направлению журнала Полевого. Ему, разумеется, проигрывали старцы «Вестника Европы», «нежной» Галатеи и «еще более нежного» «Дамского журнала» кн. Шаликова. С ним не могли соперничать и более значительные на тот момент литературные силы: ни «тесный кружок» Аксакова, ни солидарный с ним во многом, но более обширный и состоящий в связи с друзьями Пушкина кружок молодых ученых и аристократов, «столпившихся» в «Московском вестнике» (Погодин, Шевырев, Хомяков, Киреевский). Впрочем, Григорьев готов признать, что «Московский вестник» изначально страдал той «несчастной солидарностью с старым хламом и старыми тряпками», которая впоследствии «подрезывала все побеги жизни в “Москвитяине” пятидесятих годов...» (с. 53).

Сравнивая состояние литературы 1820-х – начала 1830-х гг. с ее состоянием в 1850-е гг., Григорьев отмечает, что в 50-е гг. был Островский, начинало уже «энергетически высказываться» славянофильство. В 1830-е гг. ничего этого не было. Еще здравствовали и издавали свои журналы поколение, воспитавшееся на «выспренних одах», и поколение, «пропитанное насквозь “Бедной Лизой”» Карамзина. У тех и у других (особенно у первых) не только «купчишка Полевой», но и профессор Мерзляков считался «еретиком» за критические разборы Сумарокова, Хераскова и Озерова. Для них не было иной литературы, писал Григорьев, кроме литературы «выдуманных сочинений». К тому же между ними самими, т. е. между «дрянными котурнами и полинявшими бланжевыми чулками», шла «смертельная война за Карамзина» (с. 47).

В конце 1820-х гг., отмечает мемуарист, у молодого поколения, жадного до всего нового, были только два-три стихотворения Хомякова, повести модного писателя Марлинского, окруженного «двойною ореолою – таланта и трагической участи», две-три «оригинально-талантливых», хотя «по обычаю неопрятных» повести Погодина и «глубокая даже по всякому времени, не то что только по тогдашнему», статья И.В. Киреевского «Обзорение русской словесности за 1829 г.», напечатанная в «Деннице на 1830 г.», в которой, как известно, «впервые был оценен пафос «действительности» в творчестве Пушкина» (с. 48).

Пушкин был идолом молодого поколения, но оно, по словам Григорьева, видело его не таким, каким он на самом деле был, потому ждало от него не того, что он сам был дать намерен: «Он дозрел уже до “Полтавы” – в его портфеле уже лежит, как он (по преданиям) говорил, “сто тысяч и бес-смертие”, то есть «комедия о Борисе Годунове и Гришке Отрепьеве», но еще чисто романтически ореолом озарен его лик, еще Байрона видит в нем молодежь» (с. 47). Если бы это тогдашнее молодое поколение могло предвидеть, что Пушкин еще улыбнется «добродушною и вместе саркастиче-

скою улыбкою Ивана Петровича Белкина», будет повествовать «с карамзинской торжественностью и вместе с необычайно метким тактом действительности об исторических судьбах обитателей села Горохина» и будет вглядываться «глубоко симпатично в жизнь какого-нибудь станционного смотрителя, оно с ужасом отступило бы от своего идола» (Там же).

Кроме общего направления, журнал Полевого, по выражению Григорьева, и это, видимо, казалось ему еще более важным, отличался «чистотою задач». Критик не расшифровывает, что именно подразумевает под «чистотою задач», но та трогательность, с какой он вспоминает о давно прошедшем, о временах «Телеграфа», позволяет безошибочно определить, что он имел здесь в виду то нравственное направление, которое избрал для себя журнал. И излишне напоминать о том, что это направление во многом определялось личностью его издателя. Григорьев никогда, в отличие от многих, не сомневался в глубокой порядочности и честности Полевого, которому за эти добродетели многое должно проститься, несмотря на его последующую, «несчастную и обстоятельствами вынужденную драматическую деятельность».

Чувство, которое испытывал Ап. Григорьев к этому «даровитому», «жадному света» и «всем обязанному самому себе» человеку, он сам определил как «чувство симпатии до умиления». Он искренне желал того, чтобы первого журналиста 1830-х гг. узнали и с благодарностью за сделанное им для русской словесности приняли люди позднейшего поколения, и с омерзением вспоминал тех, кто позаботился о том, чтобы последние годы жизни «загнанного обстоятельствами публициста» были отравлены оскорбительной и беспощадной бранью. Так, Григорьев с горечью вспоминает знаменитую «пародию» конца 1830-х гг. на «Светлану» В.А. Жуковского («Новая Светлана»¹¹), сочиненную, по его словам, «одним из бездарных, но весьма солидных старцев», – М.А. Дмитриевым, в которой Полевой перед каким-то трибуналом обвиняется, между прочим, в том, что

.....
Как он в Курске еще был
Старый друг Шекспиру,
Как он друга своего
Уходил ста за три,
Анатомили его
На Большом театре...

И в заключении злорадно рассказывалось, что

У газетчика живет
Он на содержании (с. 55).

Григорьев отвечал автору сатирического портрета Полевого жестко и иронично: «Не говорю уж я о том, что анатомили “Гамлета” на Большом театре величайший сценический гений русской сцены, то есть Мочалов, и что Полевой своим поэтическим и единственно возможным для



русской сцены переводом “Гамлета” так уходил своего старого друга, что “Гамлет” разошелся на пословицы» (с. 55). Но если грубым насмешкам над трудом, несмотря ни на что все же заслуживающим одобрения, еще можно было найти оправдание, потому что о вкусах не спорят, то ругань над человеком, который «долго, честно, жарко боролся и силою совершенно внешних обстоятельств вынужден был круто поворотить с одной дороги на другую, вынужден для спасения семьи от голода и за неимением собственного журнального органа работать у Сенковского», эту ругань Григорьев не мог оправдать и искренне не понимал, как можно «ругаться вместо того, чтобы сожалеть о слабости характера» даровитого литератора (Там же).

Злоба, с которою все «старцы» 1830-х гг. – «старцы с котурнами» и «старцы в бланжевых чулках» – ополчились против Полевого, рассматривалась Григорьевым как свидетельство полной беспомощности старого перед новым. Ругательства двух «Вестников»¹², эпиграммы М.А. Дмитриева и водевильные куплеты Писарева не могли «язвить» знаменитого журналиста, потому что «все это было тогда несравненно ниже его уровня: «... за тридцать лет назад факты были таковы, что купец Полевой был представителем современных, животрепещущих интересов жизни...» (с. 49); «... за него было все, всякая новая европейская мысль, которую сообщал он тотчас же, схватывая ее на лету, читателям...» (с. 57). Такова итоговая оценка журнальной деятельности Полевого в 1820–1830-е гг., данная А.А. Григорьевым в его воспоминаниях.

Итак, очевидно, что в основе оценки литературно-критической деятельности Н.А. Полевого в воспоминаниях Григорьева лежит исторический подход. Эта оценка совпадает с той, которую дают Белинский в своей последней статье о журналисте, Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» и Герцен в работе «О развитии революционных идей в России» и в «Было и думал» («<...> он родился быть журналистом, летописцем успехов, открытий, политической и ученой борьбы»¹³). Однако речь в данном случае идет не столько о прямых совпадениях в суждениях критиков, хотя и они имеют место (некоторые из них отмечены нами), сколько об органическом усвоении Григорьевым подытоженного предшественниками. Специфика этого усвоения сказывается в своеобразной художественной «краткости» воспоминаний, отмеченной Б.Ф. Егоровым. «Григорьев, – справедливо пишет исследователь, – ориентируется на литературно грамотного читателя: «... общего знания хода истории литератур и значения литературных периодов я имею основания требовать от того, кому благоугодно будет разрезать эти страницы» (с. 70), – поэтому и при создании образов, и при чисто историко-литературных характеристиках ограничивается намеками и отсылками»¹⁴.

Кроме сказанного выше важно подчеркнуть связь «Моих литературных и нравственных скитальчеств» Григорьева с его собственными критическими работами.

Во-первых, в воспоминаниях Григорьев повторяет ряд суждений, высказанных им в 1850-е гг.: о связи романтизма и философского идеализма (с. 46)¹⁵; о самобытности русского романтизма, проявляющейся в «попытке практического применения философских идей»¹⁶, а также о двух «фазисах» этого направления¹⁷; о «романтически-туманных веяниях», безумных страстях, «дико бушующих» у Марлинского¹⁸ и доведенных до комического в наивных повестях и романах Полевого¹⁹; о Пушкине как «первом цельном выразителе нашей сущности» (с. 47)²⁰.

Во-вторых, в воспоминаниях многие суждения о романтическом направлении и ярчайшем его представителе Полевом, высказанные в статьях Григорьева разных лет, получают дальнейшее развитие в сторону историзма, а его экскурсы в историю оказываются более тесно связанными с современным ему литературным процессом.

Приведем два примера. Известно, что после 1855 г. Григорьев переоценивает роль личности в жизни и литературе, повышает значение индивидуальности критика. И как неоднократно отмечалось, новые идеи приводят критика к пересмотру литературного движения XIX в. в целом и эпохи романтизма в частности²¹.

Яркий теоретик и защитник реализма, Григорьев уже в 1840-е гг. критиковал романтизм прежде всего за одностороннее отношение к жизни, чрезмерный индивидуализм романтического героя. Но и тогда критик признавал «законность» романтического протеста и видел в нем «болезненный момент» в развитии общества²². Те же мысли развивают и его статьи «москвитянинского» периода «Русская литература в 1851 г.» (1852) и «Русская изящная литература в 1852 г.» (1853). В обобщающей статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859) весь европейский романтизм, исключая его эпигонов тридцатых годов, окончательно реабилитируется им за тревожность, активность, недовольство настоящим, борьбу²³.

Путь преодоления отъединенности романтического бунтующего сознания от общего, по Григорьеву, лежит в обращении к полноте жизни, к действительности в целом. С этих позиций он и критикует и в статье, и в воспоминаниях «идеально-чувственные» стороны романтизма, опасаясь за то, что «минутный отзыв ее еще возможен в душе человеческой»²⁴. Чтобы яснее обозначить искажения, которые принято называть романтическими и которые в полной мере обозначены в творчестве Марлинского, Кукольника и Полевого, Григорьев обращается к Пушкину. В статье о Пушкине, считая поэта «нашей душевною меркою», он пишет: «Пушкин, как истинно великий поэт, понимал, что чувство



правильное носит в себе залог вековечности, что оно не может быть ни грубым чувственным порывом, ни напряженною трагедией, ни болезненной язвой, душевным раком, который истощает в душе все другие соки»²⁵. Но если в 1859 г. Григорьев говорит о возможности воскрешения «смешных крайностей» романтизма гипотетически, то в воспоминаниях речь идет уже как о свершившемся факте. И теперь остроумие, с которым живописуются эти крайности, используется им для борьбы с негативными явлениями в современной ему литературе.

О неудовлетворительном состоянии исторической прозы в 1830-е гг., не отвечающей современным понятиям о народности и историческом, Григорьев писал и в мемуарах и в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859): «Это было время исторических романов, выходивших дюжинами в месяц в Москве и в Петербурге, – романов, в которых большую часть изображения предков были прямо списаны с кучеров их потомков, которых народность заключалась только в разговорах ямщиков, да и то еще подслушанных и переданных неверно и несвободно, а историческое – в описаниях старых боярских одежд и вооружений, да столов и кушаний, – в которых оригинальна была только дерзость авторов, изображавших с равною бесцельностью всякую эпоху нашей истории...»²⁶ «Блестящим исключением» среди этих, «сфабрикованных по известным рецептам изделий» критик всегда считал (правда, с серьезными оговорками) романы Загоскина, Полевого и Лажечникова. Однако в 1859 г. «смелые замашки», стремления Полевого к проведению новых исторических мыслей расценивались им только как имевшие отрицательное значение. До понимания их исторического значения Григорьев поднимается лишь в мемуарах.

Историчность оценок Григорьева видна и в его ретроспективных историко-литературных статьях, посвященных 30–40-м гг. XIX в. – «Народность и литература», «Западничество в русской литературе. Причины происхождения его и силы. 1836–1851», «Белинский и отрицательный взгляд в литературе», «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия»²⁷. В этом цикле Григорьев, как отмечает Б.Ф. Егоров, проникается «гегелевским» принципом исторической закономерности и исторической обусловленности литературных явлений²⁸. Элементы историзма проникли и в воспоминания. Они позволили Григорьеву дать превосходные характеристики общественно-литературным течениям и событиям 1830–1840-х гг. (такова, например, его оценка двойственности европейского романтизма, т.е. консервативных и радикальных тенденций в рамках этого направления), вслед за Чернышевским высоко оценить деятельность предшественников Белинского–Полевого и Надеждина.

Примечания

- ¹ Григорьев А.А. Воспоминания / Под ред. Б.Ф. Егорова. Л., 1980. (Литературные памятники). С. 1. Далее цитируется по этому изданию с указанием номера страницы в тексте.
- ² Яркое выраженный субъективный, полемически заостренный против «прозаического духа» 1860-х гг. характер имеет, например, глава «Нечто весьма скандальное о веяниях вообще».
- ³ См. об этом подр.: Егоров Б.Ф. Художественная проза Ап. Григорьева // Григорьев А.А. Указ. соч. С. 337–368.
- ⁴ Григорьев, при всей социальной нечеткости его позиции, всегда был ненавистником барства, аристократических привилегий. См., напр., очерк Ап. Григорьева «Великий трагик», где даются любовное описание демократической массы зрителей в театре и неоднократные презрительные, резкие характеристики аристократов.
- ⁵ В водевиль А.И. Писарева «Три десятки, или Новое двухдневное сражение» (1825) были введены куплеты, высмеивающие Полевого (см.: Стихотворная комедия конца XVIII – начала XIX в. М.; Л., 1964. С. 916–917).
- ⁶ В понятие «последний романтик» Ап. Григорьев, как известно, вкладывал очень широкий философский, художественный и даже бытовой смысл, определяя им не столько свой художественный метод, сколько тип творческой личности.
- ⁷ Надеждин Н.И. «История русского народа», соч. Н. Полевого. М., 1829. Т. 1. // Вестник Европы. 1830. № 1. С. 37–72; Письмо П.С. Правдивина к Н.А. Надоумко (О втором томе «Истории русского народа») // Там же. № 15–16. С. 276–302.
- ⁸ В третьем номере «Московского телеграфа» за 1833 г. была опубликована статья о «Двумужнице». Григорьев назвал ее в воспоминаниях «меткой, злой и талантливейшей пародией». Вместе с тем он считал, что драма Шаховского заслуживает более сдержанной оценки, так как она, «хотя и лубочным способом, затронула живые, до того нетронутые никем струны народной жизни» (Григорьев А.А. Указ. соч. С. 52).
- ⁹ Полевой Н.А. История русского народа. М., 1830. Т. 1. С. XVI.
- ¹⁰ Отношение Григорьева к Надеждину было также неоднозначным. (см.: Григорьев А.А. Указ. соч. С. 60–61).
- ¹¹ «Новая Светлана» М.А. Дмитриева (конец 1830-х гг.) ходила по рукам в списках. Впервые была напечатана в «Русском архиве» в 1885 г. (№ 1. С. 649–659); но в этом варианте отсутствуют строки «У газетчика живет он на содержаньи». Григорьев, как отмечает Б.Ф. Егоров, «неудачно назвал эту сатиру «пародией на Жуковского»: Дмитриев лишь использовал ритм баллады «Светлана», совершенно не намереваясь ее пародировать» (Егоров Б.Ф. Художественная проза Ап. Григорьева // Григорьев А.А. Указ. соч. С. 392).
- ¹² «Вестник Европы» и «Московский вестник».
- ¹³ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. VIII. С. 163.



- ¹⁴ Егоров Б.Ф. Указ. соч. С. 365.
- ¹⁵ Об этом он писал и в ранних своих статьях (например, в рецензии на альманах «Комета» // Москвитянин. 1851. № 9–10. С. 169–178.), и в поздних (например, в цикле «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» // Русское слово. 1859. № 3. Отд. II. С. 1–39; в статье «Генрих Гейне» // Там же. № 5. Отд. III. С. 15–28).
- ¹⁶ Григорьев А. И.С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо» (1859) // Григорьев А.А. Литературная критика / Сост., вступ. ст. и примеч. Б.Ф. Егорова. М., 1967. С. 284–285).
- ¹⁷ Там же. С. 207–228.
- ¹⁸ Там же. С. 221.
- ¹⁹ Там же. С. 212, 269.
- ²⁰ Там же. С. 236.
- ²¹ См., напр.: Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев – литературный критик // Григорьев А.А. Литературная критика. М., 1967. С. 25.
- ²² См. автобиографическую прозу, цикл статей «Русская драма и русская сцена» (1846).
- ²³ Григорьев А.А. Литературная критика. С. 207.
- ²⁴ Там же. С. 218.
- ²⁵ Там же. С. 215–216.
- ²⁶ Там же. С. 205.
- ²⁷ Эта серия статей была впоследствии озаглавлена Н.Н. Страховым «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина».
- ²⁸ Егоров Б.Ф. Художественная проза Ап. Григорьева // Григорьев А.А. Воспоминания. Л., 1980. С. 358.

УДК 821.111(73).09

ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТИ В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII–XX ВЕКОВ: К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ МАССОВОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ В США

Е.В. Староверова

Саратовский государственный университет,
кафедра зарубежной литературы и журналистики
E-mail: Philology@sgu.ru

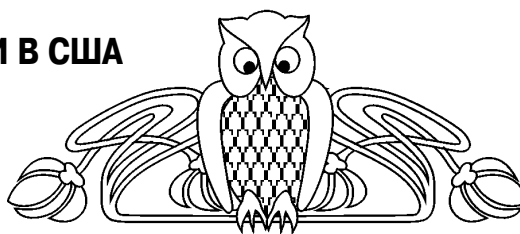
В статье рассматриваются истоки специфических черт массовой беллетристики США – повышенного дидактизма и широкой опоры на традиции национальной словесности. В обиход российской американистики вводятся новые факты (популярный роман Дж.Р. Риджа «Жизнь и приключения Хоакина Мурьеты, знаменитого калифорнийского бандита» (1854) и др.). Художественная литература Северной Америки, изначально ориентированная на самую широкую и демократическую аудиторию, с XVII в. вырабатывала оригинальные приемы и принципы наиболее эффективного воздействия на читателя. Европейские заимствования XVIII в. также адаптировались ею как в национальном духе, так и в плане сугубой доходчивости морального урока. Означенные традиции американской словесности получили развитие в творчестве писателей-романтиков XIX в. (Купер, По, Бичер-Стоу и др.), в котором отчетливо просматриваются параметры популярной литературы США рубежа XIX–XX и XX столетий.

Ключевые слова: американская литература, феномен популярности, вестерн, триллер, сентиментальный роман, беллетристика.

«Popular» in American Literature of the XVII–XX Centuries: Towards the Problem of Genesis of the US Mass Literature

Е.В. Староверова

The article looks into the sources of the US mass literature specific features – high level of didacticism and reliance on the national tradition. The popular novel by John Rollin Ridge «The Life and Adventures of Joaquin Murieta: The Celebrated California Bandit» (1854) is introduced in Russian American studies. American fiction, initially addressed to broad democratic audience, since its inception in the XVII century was developing the techniques of affecting and captur-



ing the reader. European borrowings during the XVIII century were also adapted in the national spirit, as well as in the aspect of clarity of moral lesson. Cooper, Poe, Beecher Stowe and other Romantics developed this tradition, in which the parameters of the XX century US mass literature are already demonstrable.

Key words: American literature, popular fiction, Western, sentimental novel, mass literature.

Даже поверхностный взгляд на историю американской словесности обнаруживает, что с момента ее зарождения вплоть до художественной «революции» начала XX столетия она избегала установки на элитарность. Эстетически заметные исключения из этого общего «правила» были единичными: поэтические свершения преподобного Эдварда Тейлора (XVII–XVIII вв.) да лирика Эмили Дикинсон (XIX в.), отнюдь не стремившихся обнародовать свои стихи. Не случайно столь многие из крупных писателей США: Дж. Фенимор-Купер, Э. По, М. Твен, Дж. Лондон и другие – заслуженно числятся ныне среди «классиков», а порой и «отцов-основателей» популярной беллетристики.

Словесность Североамериканских колоний была ориентирована на самую широкую (по меркам малонаселенной тогда страны) и демократическую читательскую аудиторию. Демократизм ранней национальной литературы обеспечивался социальным составом колонистов, широте же адресата способствовали уже прочно вошедшее в обиход книгопечатание и практически поголовная



грамотность населения. При этом цель, которую преследовала американская литература XVII–XVIII вв. весьма отличалась от традиционных задач популярной беллетристики в Европе – развлекательных, а затем и коммерческих и лишь опосредовано – дидактических. Основной целью авторов-американцев колониального периода было именно воспитание соотечественников. Моральный урок, который они старались преподать читателю, собственно, и являлся решающим побудительным мотивом их обращения к перу.

Данное свойство просматривается уже в сочинениях первого по времени американского литератора капитана Джона Смита, начиная с «Правдивого описания Виргинии» (1608), которое по праву считается истоком национальной словесности. Смит стремится внушить читателям свою непоколебимую веру в гражданственную и даже божественную миссию освоения необжитых пространств материка, свое отношение к трудностям, в преодолении коих он видел основу духовного возрождения, свою убежденность в неограниченных силах и способностях простого человека.

Вместе с тем сочинения Смита решены преимущественно в жанре, который позднее получил название «рассказ путешественника». Главные же темы его произведений – стихия мореходства и Америка – ее экзотическая природа и ее сопряженная с невероятными, порой опасными приключениями, колонизация как бы предвосхищая читательские пристрастия на несколько столетий вперед. Они получают блестящее развитие в «морских» и «пионерских» до сих пор популярных романах Дж. Фенимора-Купера («Лощман», пенталогия о Кожаном Чулке и др.). Еще более полно вписывается в представление о популярной литературе эмоциональная и красочная автобиографическая книга «Истинные путешествия, приключения и наблюдения капитана Джона Смита» (1630). География путешествий автора настолько обширна, а превратности его судьбы настолько многочисленны, что этого материала с избытком хватило бы на несколько авантюрных романов.

Среди произведений Джона Смита выделяется «Общая история Виргинии и Новой Англии» (1624), один из эпизодов которой имеет самостоятельное значение как исток беллетристической линии в национальной словесности. Это история спасения Смита дочерью Великого индейского вождя принцессой Покахонтас. В контексте дальнейшего развития ранней американской литературы она предстает первым образцом одного из ведущих жанров колониальной словесности «рассказа пленника» («captivity narrative»).

В отличие от светски ориентированных произведений капитана Джона Смита, весьма обширное и очень своеобразное творчество его современников писателей-пуритан Новой Англии, признанное теперь центральным в развитии национальной художественной мысли¹, заключает в себе моральный урок иного – религиозного –

плана. Искусству, которое развлекает и доставляет эстетическое удовольствие, но не укрепляет веру, не помогает человеку «совершать свое спасение», пуритане не доверяли; с их точки зрения, это был путь сомнительный и опасный. Как ни парадоксально, это привело не к обрыву, а, напротив, к развитию только что обозначившейся беллетристической линии американской словесности.

Примечательно и то, что авторы-пуритане выработали особый, так называемый «простой стиль» («plain style»), чтобы «внятно для каждого выразить простую истину». Этот стиль, соблюдение которого было тогда неременным и принципиальным требованием, отличается доходчивостью, неторопливостью, обстоятельностью, последовательностью изложения, обилием повторов и риторических вопросов и, казалось бы, достаточно неожиданной склонностью к смелым сравнениям и аллегориям. Основанные преимущественно на Библии, эти аллегории были вполне «прозрачны» для пуританского читателя: он с детства знал Писание едва ли не наизусть. Доступность и яркость языка – вот неотъемлемые свойства популярной беллетристики Новейшего времени; в США, как видим, они поддерживаются очень давней литературной традицией.

Движимые горячим стремлением на примере жизни колонии или личном примере вдохновить читателя на святость или предостеречь его от греха, авторы-пуритане охотно обращались к ярким и драматическим событиям, которые, впрочем, в изобилии предоставляла американская действительность. Тяготы и лишения существования поселения, окруженного лесной чащей, зверства «краснокожих дикарей», угроза со стороны дикого зверя и чудесное – по промыслу Божию – спасение от томагавков первых и когтей вторых – вот распространенные сюжеты произведений пуританских писателей, а затем их преемников в национальной литературе XVIII в.

Как видим, новоанглийской словесности изначально и органично была присуща некоторая «формульность»; ее наиболее распространенным жанром стал «рассказ пленника», предварительный «набросок» которого (эпизод индейского плена и освобождения капитана Джона Смита) уже существовал в очень короткой тогда истории американской литературы. Однако именно в Новой Англии, на Северо-востоке, а не в смитовской Виргинии, были настоящие «дебри», и тамошние «дикари» были особенно недружелюбны. Над массачусетской колонией висела постоянная угроза вторжения «краснокожих». В восприятии новоанглийских поселенцев события развивались по Библейскому «сценарию»: избранный народ пересек океан и ступил в земли, населенные языческими племенами, он страдал под пытками, он томился в плену и обрел в результате освобождения и вечное спасение.

В соответствии с этим «сценарием» постепенно выработывались жанровые параметры



«рассказа пленника»: насильственное изъятие героя из обжитого поселения и погружение в сатанинский мир тьмы, лежащий за его пределами, развернутое описание зверств «краснокожих», неперемное чудесное избавление. Все эти черты исключительно полно представлены в «Рассказе о плене и избавлении Мери Роландсон» (1682), не первом, но наиболее ярком повествовании подобного рода. Весьма неожидан и не типичен для пуританской литературы в целом авторский взгляд на краснокожих аборигенов. Вблизи они оказываются не «дьявольским отродьем», не «извергами», а людьми – не похожими на белого человека, жестокими и опасными, но не лишенными чувства сострадания и определенного благородства.

Богобоязненная жена пуританского священника и мать троих детей, Мери Роландсон волей судьбы стала самым читаемым автором Новой Англии конца XVII в. и родоначальницей популярной литературы США. Ее единственная книга, где Мери Роландсон описала собственный драматический опыт, переиздавалась чаще других в Америке колониального периода и вызвала массу подражаний. Ставший одной из примет культуры эпохи освоения Америки, «рассказ пленника» часто воспроизводился затем в популярных исторических произведениях XIX–XX вв. Именно в этом жанре решен, в частности, рассказ бабули Фонтейн в популярном романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». В «Рассказе о плене и избавлении Мери Роландсон» прорисовываются к тому же черты готического романа, который возникнет столетие спустя, а также вестерна, который возникнет еще через столетие и на долгие годы станет классикой массовой культуры².

Отметим, что важной частью национального культурного наследия оказался и впечатляюще мрачный религиозный фольклор колонистов-пуритан: поверья и предания о постоянных кознях врага рода человеческого, о силе приспешников дьявола – ведьм и колдунов, о бездне, которая разверзается в сердце грешника и т.д.³ Он не нашел непосредственного отражения в пуританской художественной прозе, но исключительно широко использовался в беллетристике США XIX–XX вв. – от сочинений писателей-романтиков (В. Ирвинг, У. Остин, Н. Готорн, Э. По) до мистического триллера наших дней (С. Кинг и др.).

Восемнадцатый век, вошедший в историю культуры как век Просвещения, кардинально пересмотревший прежнюю картину мира, стал поистине переломным для Америки с ее исконно пуританскими традициями и колониальным менталитетом. Именно в этом веке Североамериканские колонии Британской короны заявили о себе как о новом государстве, еще не виданном под солнцем, созданном, как значилось в Конституции, «народом, из народа и для народа»⁴. «Американская революция», как в США предпочитают называть Войну за Независимость (1775–1783),

была подготовлена деятельностью отечественных просветителей, и прежде всего Бенджамена Франклина, литератора, ученого-изобретателя, крупной общественной и политической фигуры.

Движимые идеями превосходства разума над прочими сферами человеческой личности, неизбежности социального прогресса, они придавали огромное значение образованию соотечественников. Усилиями просветителей в стране открывались бесплатные школы, университеты, «академии» и публичные библиотеки, бурно развивалось газетное дело и книгопечатание. Массачусетский издатель Исайя Томас призывал газеты стать «популярными, то есть выражать здравый смысл доступным языком, чтобы их могли читать рабочие, матросы и наемники»⁵. Стремление Томаса приобщить к чтению все группы населения имело основанием почти поголовную к концу XVIII в. грамотность белых американцев. Постепенно чтение газет и книг становилось в Америке повседневной общественной практикой.

Непосредственно к этой широкой читающей публике и обращались писатели эпохи Просвещения, стремясь донести свои идеи до сограждан, с чем связано явное преобладание в американской словесности XVIII столетия всевозможных популярных форм. Распространенные жанры колониальной литературы – рассказ путешественника и рассказ пленника как таковые уходили в прошлое и трансформировались. Их охотно пародировал Б. Франклин («Путешественник: Гигантский прыжок кита», 1765; «Отчет о пленении Уильяма Генри в 1755, его пребывании среди индейцев племени Сенека в течение 6 лет и 7 месяцев, пока он не сбежал от них», 1766), сам, впрочем, отнюдь не чуравшийся популярности. «Первый воистину великий писатель Нового Света», как называли его в Европе, предпочитал преподносить моральные уроки в юмористической форме, обреченной на читательский успех. Приведем заглавие одного из его стихотворений: «В защиту молодого человека, содержащегося в тюрьме и в оковах за совращение старухи 85 лет <...>, у которой был один только глаз, и тот красный».

В период Войны за Независимость и в первые годы Республики популярная беллетристика имела в Америке не меньшее распространение, чем ориентированная на широкие массы публицистика, и стремительно вытесняла последнюю. Она была представлена тогда, главным образом, рассказами очевидцев легендарных военных кампаний и героического поведения молодых солдат Революции. В значительной степени опирающиеся на схему «рассказа пленника», «рассказы очевидцев» вместо морального поучения, свойственного жанру-предшественнику, непременно преподносили урок патриотизма. К концу XVIII столетия, однако, и эти героические истории успели превратиться в клише и постепенно растворились в популярных романах, которыми зачитывалась молодая республика.



Собственно, развитие американского романа начиналось с популярных разновидностей, ориентированных на европейские образцы – произведения С. Ричардсона, А. Радклиф, позднее – В. Скотта. В отличие от искусственной Европы, Америка с ее пуританскими нравственными устоями поначалу сопротивлялась распространению нового для нее литературного жанра. Здесь считалось, что романы «толкают на путь греха», «разжигают страсти и развращают сердце», грязнят воображение юношества. Тем временем новая литературная форма активно завоевывала читательскую аудиторию и книжный рынок.

Самой распространенной жанровой разновидностью был sentimentalный роман («Сила сочувствия» (1789) У.Х. Брауна, «Шарлотта Темпл: Правдивая история» (1791) С. Роусон, «Кокетка» (1797) Х. Фостер и др.), несколько менее востребованными оказались роман сатирический («Алжирский пленник» (1797) Р. Тайлера, цикл «Современное рыцарство» (1792–1805) Х.Г. Брэккенриджа и др.) и готический («Виланд» (1798), «Ормонд» (1799), «Артур Мервин» (1799), «Эдгар Хантли» (1799) и другие произведения Ч. Брокдена Брауна). В первой трети XIX в. к данным разновидностям добавился исторический роман («Шпион» (1821) Дж. Фенимора-Купера).

Именно популярный роман в США конца XVIII столетия – это, так сказать, «первые шаги» жанра, который в дальнейшем стал национальной литературной формой. Кроме того, это исток целого ряда традиций как массовой беллетристики, так и «большой» американской словесности XIX–XX вв. Если нравоучительный sentimentalный роман, адаптированный к новым жизненным реалиям, расцвел лишь множеством «love stories» современной массовой литературы, то вклад других жанровых разновидностей в американскую культуру оказался не столь одноплановым и более весомым.

Так, романтический цикл Х.Г. Брэккенриджа «Современное рыцарство» положил начало бесчисленному популярному «сериалам» в беллетристике и кинематографе прошлого столетия, а также сериям произведений со сквозным центральным персонажем – от детективных новелл Э. По до новеллистических и романтических циклов «большой» литературы XIX–XX вв. (пенталогия о Кожаном Чулке Дж. Фенимора-Купера, циклы о Нике Адамсе Э. Хемингуэя, о Соле Пэрадайзе Дж. Керуака и др.). Образ же «современного Дон Кихота» капитана Фарраго отозвался затем в фигуре путешествующего по стране героя, чей незамутненный взгляд позволяет видеть стереотипы американского сознания в истинном свете («Приключения Гекльберри Финна» М. Твена, «Над пропастью во ржи» Дж.Д. Сэлинджера), и героя, попавшего в чуждые ему общественные условия («Принц и нищий» и «Янки при дворе короля Артура» М. Твена, «Над кукушкиным гнездом» К. Кизи, «Костры амбиций» Т. Вулфа и др.).

Что касается готического повествования, то оно особенно интересно как исток психологической линии американской прозы, которая признается исследователями подлинной национальной (Э. По, Н. Готорн, Г. Мелвилл, У. Фолкнер, У. Стайрон и др.) и массовой («психопатологической» беллетристики XX в. (С. Кинг, Ч. Полланик, П. Брайт и др.). Роман же Ч. Брокдена Брауна «Виланд: Американская история», основанный на действительном случае немотивированного массового убийства в одной из фронтирских семей, примечателен к тому же как одна из ранних вех непрерывной в литературе США традиции сплава документа и художественного вымысла – от «Рассказа о плене и избавлении ...» М. Роландсон до «Хладнокровно» (1965) Т. Капоте, «Крестного отца» (1969) М. Пьюзо, «Черной воды» (1991) Дж.К. Оутс и др.

Но лишь в следующем XIX столетии литература молодой страны, прежде по крупицам накапливавшая национальное своеобразие, избавляется от подражательности и перестает быть некоей провинциальной ветвью английской словесности. Она обретает яркую самобытность и мировое признание. Завоевание литературной независимости США – заслуга писателей-романтиков. Бережно сохраняя и развивая уже имевшиеся национальные художественные традиции, широко опираясь на американский фольклор, они создали новые литературные формы, способные адекватно отразить уникальный опыт национальной жизни: разработали жанровые параметры американского романа – от «китобойного» и «романа фронтира» (Дж. Фенимор-Купер) до философского (Г. Мелвилл) и американской новеллы – от сказочной и психологической (В. Ирвинг, Н. Готорн) до детективной и научно-фантастической (Э. По).

Примечательно, что едва ли не впервые в истории американской словесности, изначально популярной, ориентированной на самые демократические круги, авторы-романтики не руководствовались запросами публики (хотя, разумеется, они желали быть прочитанными) или стремлением поучать и воспитывать эту публику. Определенный дидактизм присущ лишь уроженцам Новой Англии: потомку пуритан Н. Готорну и жене проповедника Г. Бичер-Стоу с ее пропагандистским аболиционистским романом «Хижина дяди Тома» (1852). Они руководствовались, прежде всего, насущными потребностями национальной культуры.

Так, сюжеты многих романов Дж. Фенимора-Купера построены на традиционных для американской словесности, но романтически переосмысленных автором «рассказе путешественника» («Лоцман» и др.) и «рассказе пленника» («Шпион», «Последний из Могикан» и др.). Его пенталогия о Кожаном Чулке в целом – это художественная история освоения фронтира, становления американской цивилизации, отмеченная как духовными взлетами, так и нравственными



потерями. Натти Бампо, свободолюбивый, независимый и бескомпромиссный, – это первый самобытный герой национальной словесности. Утверждению национальной самобытности служат также красочные описания могучей величавой природы и экзотического быта коренных жителей Америки.

Художественным исследованием природы человека, населяющего эту обширную страну (и человеческой природы вообще), предстают «страшные» рассказы и «рационации» Э. По, вслед за Ч. Брокденом Брауном заглянувшего в тайные и темные закоулки сердца и впервые в национальной литературе препарировавшего законы человеческого разума. Со временем выяснилось и то, что во фронтирской эпопее Купера определяются жанровые параметры вестерна, а в новеллистике По – детектива и психологического триллера.

Немаловажно, что принципиальная установка на художественное экспериментаторство и творческую самореализацию также была чужда романтикам американцам. Лучшим подтверждением тому служит огромное и все возрастающее количество подражателей-«учеников», способных и не слишком, среди беллетристов второй половины XIX и XX вв. Они весьма охотно использовали, тиражировали и тем самым превращали в штампы как новаторские открытия писателей-романтиков, так и многочисленные клише, свойственные условной романтической эстетике. Последние особенно явно обнаруживали свою уязвимость вне контекста соответствующей литературной эпохи. Массовая литература особенно часто прибегает именно к романтическому арсеналу. Оттуда родом образы вольного и гордого героя-одиночки, благородного мстителя, контрастные женские персонажи в рамках одного произведения – обыденная «светлая» и трагическая «темная» героини (Ровена и Лигейя в «Лигейе» По, Алиса и Кора в «Последнем из Могикиан» Купера и т.д.), а также тяга к поляризации характеров, к экзотике и приключениям, эмоциональный накал.

Один из первых отечественных примеров подобного рода – примечательный во многих отношениях роман коренного американца из племени Чероки Дж. Р. Риджа «Жизнь и приключения Хоакина Мурьеты, знаменитого калифорнийского бандита» (1854). Написанный в период наивысшего взлета романтизма в США, этот роман – в силу недостаточной еще оформленности литературной традиции коренных американцев – представляет собой явление, хотя и яркое, но во многом подражательное. Его стилистика и образная система опираются на куперовские традиции «романа фронтира». Это захватывающая и трогательная история о некоем вымышленном благородном разбойнике-мстителе за поруганье его семьи и его народа. Имя «Хоакин» произведено от презрительного местного прозвища бандитов-чиканос, в начале столетия вовсе не благородно террори-

зировавших всю Калифорнию («хоакины» – ср. рус.: «ваньки»). Ридж снабдил героя фамилией и изобразил неким американским Робинот Гудом, бескорыстным защитником обездоленных, неотразимым и галантным кавалером, верным супругом.

Созданный за столетие до пробуждения (в 1960-е) общенационального интереса к художественному творчеству коренного населения материка, роман Дж. Р. Риджа принес автору широкую известность. Ныне он считается первым классическим образцом популярного жанра вестерна, который позднее – на рубеже XIX–XX вв. наводнил американский книжный рынок, а затем и кинематограф. В определенном смысле это произведение повлияло на массовую культуру не только в США, но и далеко за их пределами (один из «ремейков» романа Риджа – рок-опера А. Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»).

Что же касается корифеев американского романтизма, то стараниями популярной беллетристики публика уже давно считает Э. По сотоварищем А. Конан Дойля, Р. Стаута и С. Кинга, а Дж. Фенимора-Купера ценит наряду с А. Дюма и Т. Майн Ридом. Несмотря на одиозность подобного восприятия творчества романтиков-американцев, – налицо факт их популярности у разновозрастных читателей следующих поколений во всем мире. Несомненен был и их успех у европейских современников и образованных соотечественников. В США же писатели-романтики – за вычетом Г. Бичер-Стоу с ее бестселлером «Хижина дяди Тома» – оказались явно недовостребованными.

Причиной тому была специфика тогдашней культурной ситуации – как никогда прежде в этой стране резкое размежевание и непропорциональное соотношение между относительно небольшим кругом ревнителей литературы и подавляющим большинством, которому до литературы не было никакого дела. Мощно разворачивавшееся с начала XIX в. движение населения на Запад и президентство Э. Джексона, с его вульгаризацией демократического духа фронтира, привели к снижению общего культурного стандарта в стране до минимального уровня⁶.

Нация пионеров, а практически каждый из них умел читать, демонстрировала типичную черту современных обществ: грамотность заметно превышала потребность в чтении. Последняя вполне удовлетворялась периодикой, всевозможными практическими руководствами да развлекательными книжонками. Американцы вновь стали зачитываться «рассказами пленников», «рассказами очевидцев», а чуть позже – рассказами о мужественных фронтирменах. Впоследствии в результате решительных мер, предпринятых в стране: введения (в 1837) и стремительного развития единой государственной общеобразовательной системы, создания сети познавательных курсов и дискуссионных клубов для взрослых



(своего рода залов «интеллектуального тренинга» нации) – культурный «перекокс» был выправлен.

Вскоре, однако, радикальные изменения в жизни США потребовали столь же радикальной переориентации литературы. Шоковый опыт самой кровопролитной в американской истории Гражданской войны (1861–1865), тяготы и неразбериха Реконструкции противились романтизации. Романтическая эстетика перестала соответствовать задачам художественного освоения национальной действительности, новую же эстетику еще предстояло выработать. Естественно, в военные годы массовая культурная индустрия страны работала на победу. Писались патриотические стихи. Жены и дочери конфедератов перечитывали массовобеллетристические «плантаторские романы», поддерживавшие миф «Старого Юга». Север штамповал аболиционистские романы – в подражание невероятно популярной здесь «Хижине дяди Тома» Г. Бичер-Стоу.

Первые шаги послевоенной литературы США были сделаны во многом ощупью и вновь (как некогда в XVIII в.) не без учета работ великих европейских предшественников, прежде всего Теккерея и Стендаля. Это романы о Гражданской войне Т.Н. Пейджа, А. Турже, Дж.В. Кейбла, Дж.У. Дефореста, которые вполне оправдывали заявление У. Уитмена: «Настоящая война никогда не попадет в книги»⁷. Действительно, художественно впечатляющий взгляд на эту войну появился в литературе лишь на рубеже XIX–XX вв. (А. Бирс, С. Крейн) и в XX столетии (Э. Глазгоу, М. Митчелл, У. Фолкнер).

В произведениях же первых военных романов, так сказать, «первых шагах» послевоенной реалистической прозы США, сказывается стремление к «перевязыванию ран», признанному тогда важнейшей задачей американской литературы: израненной нации было необходимо прежде всего восстановить душевные силы. Этим стремлением, да еще инерцией евроориентированной популярной беллетристики Старого Юга, объясняется излишний мелодраматизм, слащавость и идиличность любовных сцен в романах южан Дж. В. Кейбла и А. Турже. «Заставьте вашу героиню-южанку влюбиться в офицера армии Севера, и ваша книжка будет мигом напечатана»⁸, – иронизировал по этому поводу Т.Н. Пейдж, сам, впрочем, охотно пользовавшийся этим приемом.

Традиция «улыбающегося», или «нежного», реализма по сути смыкается с массовобеллетристической тенденцией сглаживания противоречий национальной жизни. Ярчайшие примеры беллетристики подобного рода – популярные рассказы Ф. Брета Гарта, создателя расхожего образа Дикого Запада, населенного сентиментальными мошенниками, храбрыми отщепенцами и падшими женщинами с золотыми сердцами, и О. Генри, блестящего мастера новеллы и вместе с тем автора, не имевшего себе равных по части «перевязывания ран» простых американцев,

который пользовался большой популярностью лишь у самого неразборчивого читателя. «Улыбающаяся» традиция продержалась в литературе США достаточно долго: она характерна для творчества большинства писателей-реалистов и даже натуралистов рубежа XIX–XX вв.; в том числе по-разному просматривается в ряде произведений раннего М. Твена, Т. Драйзера и Дж. Лондона.

Натурализм в его «чистом» виде, а в особенности в позднем американском варианте, – явление жесткое и жестокое, заостряющее, а не сглаживающее изломы времени. Он опрокидывает важнейшую в словесности XVII–XIX вв. традицию изображения победы человека в неравной борьбе с обстоятельствами (природными, социальными, духовными и др.) и заменяет традиционный образ героя крошечной фигуркой в детерминистской системе, которая издевательски игнорирует его, и потому жизнь человека часто завершается трагедией. Несмотря на то что натуралистическая концепция человека противоречит установкам массовой литературы, последняя весьма охотно эксплуатирует иные – чисто внешние – аспекты натуралистического метода: интерес к запретным прежде темам (взаимоотношения полов, человеческая физиология вообще, проституция, преступность и т.д.) и отдельные приемы писателей-натуралистов (фотографическая точность и т.д.).

Наиболее заметное с эпохи расцвета романтизма качественное изменение американской словесности пришлось на 1920-е гг. Первая мировая, травмировавшая национальное сознание, одновременно с этим навсегда разомкнула вновь ставшие провинциальными рамки отечественной культуры. «Нечто тонкое и неуловимое проникло в Америку, – писал Ф. Скотт Фицджеральд, – стиль жизни». «Нечто тонкое» проникло в это же время и в американскую литературу – стиль письма. Неограниченная свобода творчества, эстетический поиск и смелый эксперимент в области повествовательной техники – вот определяющие черты национальной словесности послевоенного десятилетия, унаследованные затем «большой» литературой США всего XX в.

Опыт модернизма в принципе не поддается «омассовлению», хотя отдельные броские чисто сюжетные ходы: неожиданная и нелепая гибель возлюбленной героя, кратковременное счастье любящих и др. – перекочевали из книг писателей военного поколения в популярную беллетристику. Справедливости ради заметим, что и в 1920-е и позже коммерческий стимул побуждал некоторых «серьезных» авторов (Фицджеральд, Капоте и др.) адаптировать свои произведения к запросам массовой читательской или киноаудитории, что ими же самими рассматривалось как «отступничество».

После Первой мировой в американской литературе четко обозначились два потока, весьма различных по качеству, цели и адресату произведений: новаторская и эстетически значимая



«серьезная» художественная проза и тривиальная развлекательная популярная беллетристика. Массовая литература 20–30-х в США разнообразна: научная фантастика⁹ («Космический жаворонок» (1928) Э. Смита и др.), любовный исторический роман («Унесенные ветром» (1939) М. Митчелл), такое специфически американское поначалу явление, как так называемый «крутой детектив» (Д. Хемметт, Р. Чандлер, Р. Стаут и др.), который оформляется и бурно расцветает именно в эти годы. Развиваясь и по сей день, он обнаруживает способность проникать в другие жанровые разновидности романа. Так, отдельные параметры «крутого детектива» просматриваются в романе М. Пьюзо «Крестный отец». Мир «крутого детектива» – это «мир гангстеров, мошенников, коррумпированных политиков и бизнесменов, содержателей притонов <...>. Это мир, где царит насилие и жестокость, совершаются грязные сделки, свистят пули, пускаются в ход ножи и кастеты»¹⁰.

После Второй мировой войны в «обществе равных потребителей», какими стали США в 1950-е, происходит пышный расцвет массовой беллетристики, и на первый план выходит ее гедонистическая функция. «Серьезная» же неконформистская литература находится по отношению к ней в явной оппозиции. К концу 60-х, напротив, наблюдается своеобразное сближение обеих линий американской словесности. С ростом образовательного уровня среднего читателя повышается качество массовой беллетристики в целом. Сохраняя свои типологические особенности, она, тем не менее, начинает присматриваться к внутреннему миру человека, обращать большее внимание на художественную фактуру произведений. «Серьезная» же литература, уставшая за

полвека от собственной идейной и эстетической «перегруженности», вновь, как когда-то, делает шаги навстречу широкой читательской аудитории. Впоследствии массовобеллетристические приемы будут эффектно обыгрываться и пародироваться писателями-постмодернистами, а к концу столетия окажутся интегрированными единой «постиндустриальной литературой».

Примечания

- 1 См.: *Bradbury M., Ruland R.* From Puritanism to Postmodernism. N.Y., 1992.
- 2 «Повествование с индейцами», – так определяет жанр вестерна американский исследователь Л. Фидлер (см.: *Fiedler L.A.* The Return of the Vanishing American. N.Y., 1968). (Перевод здесь и далее наш. – *E.C.*)
- 3 См.: *Dorson R.M.* America in Legend Folklore from the Colonial Period to the Present. N.Y., 1973.
- 4 Цит. по: *Early American Reader* / Ed. by L. Lemay. Washington, D.C., 1995. P. 354.
- 5 Цит. по: *The Harper American Literature* / Ed. by D. McQuade. N.Y., 1994. Vol. 1. P. 2037.
- 6 См., напр.: *Bradbury M., Ruland R.* From Puritanism to Postmodernism. N.Y., 1992.
- 7 Цит. по: Писатели США о литературе: В 2 т. М., 1982. Т. 1. С. 123.
- 8 Цит. по: *Bradbury M., Ruland R.* From Puritanism to Postmodernism. N.Y., 1992. P. 295.
- 9 Примечательно, что сам термин «science fiction» предложен американским писателем Х. Гернсбеком в 1920 (см.: Приключения, фантастика, детектив: феномен беллетристики / Ред. Т.Г. Струкова, С.Н. Филюшкина. Воронеж, 1996. С. 127).
- 10 Приключения, фантастика, детектив: феномен беллетристики / Ред. Т.Г. Струкова, С.Н. Филюшкина. Воронеж, 1996. С. 117.

УДК 821.111(73).09-3181+929[Торо+Ирвинг+Готорн]

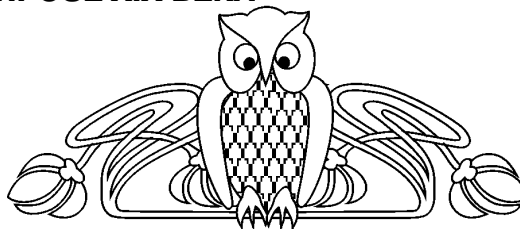
МОТИВ ЗЕМНОГО РАЯ В АМЕРИКАНСКОЙ ПРОЗЕ XIX ВЕКА (Генри Дэвид Торо, Вашингтон Ирвинг, Натаниэль Готорн)

А.А. Петрушина

Саратовский государственный университет,
кафедра зарубежной литературы и журналистики
E-mail: seecow@mail.ru

В данной статье рассматривается концепция Америки как земного рая в творчестве американских писателей XIX в. В качестве примера используются произведения таких авторов, как Генри Дэвид Торо, Вашингтон Ирвинг, Натаниэль Готорн. Краткая проза Ирвинга и Готорна сопоставляется с романом Торо «Уолден, или Жизнь в лесу». В ходе данного сравнения автор статьи приходит к выводу о схожести истолкования концепции земного рая у вышеупомянутых писателей.

Ключевые слова: концепция земного рая, американский рассказ XIX в., Торо, трансцендентализм, мировая душа.



«Earthly Paradise» in American XIX Century Prose (Thoreau, Irving, Hawthorne)

A.A. Petrushina

The article deals with the concept of America as earthly paradise in the texts by H.D. Thoreau, Washington Irving and Nathaniel Hawthorne. Short stories by Irving and Hawthorne are compared with Thoreau's novel «Walden: or, Life in the Woods», leading to conclusion about the similarities in interpreting the concept by the three authors.



Key words: «earthly paradise», American XIX-th century short story, Thoreau, transcendentalism, world soul.

Долгое время одной из ключевых тем американской прозы и поэзии была Америка как земной рай. С момента открытия континента люди воспринимали его как некое благословенное место, где осуществляются желания и где каждый человек имеет право на счастье. Эмигранты со всего света стремились в Америку в надежде обрести в ней обетованную землю. Такое восприятие недавно открытой страны поддерживалось рядом факторов, из которых первыми и главными стали религиозные догматы, занимающие тогда господствующее положение в жизни общества. Под влиянием Церкви сформировалась вера в появление расы Божьих избранников, которая обоснуется в отдельном уголке земного шара, далекого от мирских сует, и там будет вести по-настоящему добродетельную жизнь в пример остальным народам. Америка с ее девственной природой и отсутствием социальной иерархии как нельзя лучше соответствовала духовным исканиям религиозно-ориентированных индивидуумов той эпохи.

Вторым существенным фактором становятся многочисленные хвалебные отзывы путешественников, посетивших новый континент. Эти истории окончательно убедили людей в том, что Новый Свет – место безграничных возможностей для достижения искомого ими благополучия, как материального, так и духовного. «Американская лихорадка» охватывает европейцев, которые были недовольны положением дел на родине и полны решимости навсегда покинуть родные края с тем, чтобы заново построить жизнь на новом месте¹.

Америка того времени действительно визуально напоминала райский уголок, и здесь ключевым компонентом была природа. Местные флора и фауна существенно отличались от европейских; густые леса изобиловали дичью, а реки – рыбой, и повсюду, насколько хватало глаз, простирались удивительные по красоте пейзажи. Более того, в отличие от европейских стран, жить на лоне природы в Америке было делом естественным и даже необходимым ввиду топографических особенностей континента.

Нет ничего удивительного в том, что природа имеет исключительное значение для понимания специфики национального характера, и именно она оказала существенное влияние на его становление. В дальнейшем природа становится центром трансцендентального учения, которое приписывает ей божественное начало и мировую душу.

Особенности местного колорита в сочетании с религиозным духом населения и формируют в человеческом сознании представление об Америке как о земле избранных, рае на земле, обитателям которого дается надежда на вечное блаженство.

Мотив земного рая наиболее ярко проявляется в творчестве американских писателей XIX в.

Несмотря на жанровые различия произведений, основные концепции райского уголка остаются практически идентичными. Более того, отдельные фразы и предложения буквально повторяют друг друга, хотя, исходя из хронологии, их авторы никак не могли быть знакомы с работами друг друга. Мы подробно остановимся на параллелях между книгой Генри Дэвида Торо «Уолден» и краткой прозой писателей-романтиков Вашингтона Ирвинга и Натаниэля Готорна.

Начнем с «перекличек» между «Уолденом»² Торо и «Книгой эскизов» Ирвинга (точнее, одной из ее новелл – «Легенда о Сонной Лощине»³). Спорный момент данной параллели лежит во времени написания произведений: сборник новелл Ирвинга датируется 1819–1822 г., в то время как роман Торо увидел свет лишь в 1854 г. Нет никаких свидетельств, подтверждающих знакомство Торо с литературными работами Ирвинга. Тем не менее отдельные предложения «Легенды о Сонной Лощине» и «Уолдена» кажутся написанными одной и той же рукой.

Так, в самом начале своего рассказа «Легенда о Сонной Лощине»⁴ Ирвинг предлагает читателю идеальное, с точки зрения автора, место для жизни человека. Описание «райского уголка» заканчивается следующим образом: «И хотя с тех пор, как я бродил среди дремотных теней Сонной Лощины, миновало немало лет, я все еще спрашиваю себя, не произрастают ли в ее богоспасаемом лоне все те же деревья и те же семьи»⁵ (с. 41).

У Торо одна из глав также начинается со своеобразного панегирика природе американской глубинки и заканчивается похожими словами: «Кажется, что тот же зверобой растет на лугу из того же вечного корня»⁶ (с. 102).

Данные высказывания схожи по своей стилистике и концепции. Различаются только подходы авторов: у Ирвинга – более романтический и обобщающий (trees, sheltered bosom), в то время как Торо прибегает к точной констатации (johnswort, pasture). Тем не менее суть приведенных высказываний едина – оба автора говорят о своеобразном рае, который предлагает человеку окружающий его мир. Здесь необходимо отметить, что и у Торо, и у Ирвинга речь идет не о человечестве в целом, а непосредственно об уроженцах Новой Англии. Их врожденная любовь к природе не должна ослабевать с возрастом (как это случилось с персонажем «Легенды о Сонной Лощине» Икабодом Крейном). Ее необходимо сохранить и поддерживать в себе в качестве источника истинного счастья и естественных наслаждений, не боясь прослыть чудакон или бездельником (как это было в случае с Торо). Индивид, сберегший в себе такие юношеские чувства и идеалы, будет достоин наивысшего блаженства, которое только способен дать окружающий мир.

По мнению обоих писателей, главной составляющей рая на земле является природа. В качестве основных атрибутов «благословенного



уголка» приводятся леса и водоем (пруд у Торо, река у Ирвинга). Эти компоненты дают знающему человеку умиротворение и блаженный покой. Нужно уметь насладиться предлагаемой красотой, и дано это отнюдь не каждому. Ирвинг и Торо показывают, что для глухого к красоте человека такой рай – просто декорация, не приносящая ни морального, ни физического удовлетворения. Отсюда и возникает ирония образа Икабода Крейна – заезжего педагога в Сонной Лошине. Янки по происхождению, он все еще хранит в себе некое подобие любви к природе. Однако это светлое чувство в нем заметно деформировалось под влиянием прогресса и новых, материальных, ценностных ориентиров. Словно по велению предков, Икабод постоянно совершает ночные прогулки по лесу. Но его сознание уже безвозвратно утратило священную связь с природой, которую, по мнению Торо, должен испытывать каждый сын Новой Англии. Суеверный ужас ни на секунду не отпускает педагога, лишая его способности созерцать: «Как часто и с каким наслаждением, окончив после полудня занятия в школе, растягивался он на пышном ложе из клевера у берега маленького, журчащего около школьного здания ручейка и предавался здесь изучению старинных, полных ужасов повестей Мезера, пока сумерки не обволакивали печатную страницу непроницаемой сеткою мглы! И потом, когда он направлялся мимо болот, ручья и жуткого леса к дому того фермера, где на этот раз стоял на постое, всякий звук, всякий голос природы, раздававшийся в этот заколдованный час, смущал его разгоряченное воображение: стон козодоя, несущийся со склона холма, кваканье древесной лягушки, этой предвестницы ненастья и бури, заунывные крики совы или внезапный шорох потревоженной в чаше птицы. И даже светляки, которые ярче всего горят в наиболее темных местах, время от времени, когда на его пути внезапно вспыхивала особенно яркая точка, заставляли его останавливаться. И если какой-нибудь бесполок жука задевал его в своем несуразном полете, бедняга готов был испустить дух от страха, считая, что он отмечен прикосновением колдуна <...> Какие только жуткие тени и образы не подстерегали его среди тусклого и призрачного освещения вьюжной ночи! Сколько раз останавливался он, полумертвый от страха, перед запорошенным снегом кустом, который, точно привидение в саване, преграждал ему путь! Сколько раз леденел он от ужаса, заслышав на мерзлом снегу свои собственные шаги и боясь оглянуться назад, чтобы не обнаружить у себя за спиной какое-нибудь чудовище, преследующее его по пятам! Сколько раз, наконец, порыв завывающего между деревьев ветра доводил его почти до потери сознания...» (с. 45–47).

Абсолютно иные ощущения от ночных прогулок испытывает и в некоторой степени даже пропагандирует Торо: «Когда я допоздна задерживался в поселке, было очень приятно выйти в

ночь, особенно в темную и непогожую, из светлой комнаты или клуба, вскинуть на плечо мешок с ржаной или кукурузной мукой и держать путь в свою надежную лесную гавань; я плотно задривал люки и спускался в рубку со всем экипажем веселых и приятных мыслей, оставив у штурвала одну лишь свою телесную оболочку; а когда плавание предстояло нетрудное, то и вовсе покидал штурвал. И пока я так «плыл», мне было хорошо в каюте, наедине со своими мыслями. И ни разу я не терпел бедствия и не шел ко дну, хотя вынес немало бурь. Даже в обычную ночь в лесу темнее, чем думают многие <...> Заблудиться в лесу в любое время доставляет странное и незабываемое ощущение, к тому же поучительное» (с. 110–111).

По словам Торо, такие прогулки были не в новинку для обитателей Новой Англии. Ночной лес воспринимался «настоящим» янки отнюдь не как царство теней, а скорее как место, позволяющее отвлечься от будничных дум и способствующее более глубокому восприятию красот естественного мира.

Последним компонентом, необходимым для погружения в «природный рай», оба автора считают одиночество. В «Легенде» призыв писателя к одиночеству звучит в свойственной ему романтической форме: «Если я затоскую когда-нибудь об убежище, в котором я мог бы укрыться от мира и его суетности и прогрезить в тиши весь остаток своей беспокойной жизни, то мне не найти уголка более благословенного, чем эта маленькая лошина»⁷ (курсив наш. – А.П.) (с. 40).

В описаниях преимуществ одиночества Торо проявляет себя более категорично: «Общество, даже самое лучшее, скоро утомляет и отвлекает от серьезных дум <...> Ни с кем так не приятно общаться, как с одиночеством» (с. 89).

Оба писателя, каждый в своей манере, дают установку на некий идеальный, «естественный» образ жизни, оставляя за своим читателем право выбора.

Что же касается хронологического несоответствия, то мы можем предположить, что общие умонастроения Америки XIX в. не могли не сказаться на творчестве обоих авторов. Однако, помимо витающих в воздухе идей, сохранились документальные записи о том, что Торо придирчиво изучал творчество своих соотечественников. Принимая во внимание тот факт, что Ирвинг в то время уже был официально признан европейским читателем, существует большая вероятность, что Торо просто не мог оставить без внимания его произведения. Нельзя исключать и возможность того, что книги Ирвинга пришлось по душе утонченной натуре «поэта природы», а некоторые строчки «Уолдена» стали данью уважения и солидарности по отношению к своему соотечественнику. Кроме того, композиционная структура «Уолдена» отличается большим количеством скрытых цитат, обращающих читателя к поэтам, писателям и



философам различных стран и эпох. Вполне возможно, что приведенные нами параллели между произведениями есть скрытые цитаты, которые остались незамеченными как переводчиками, так и исследователями.

Таким образом, несмотря на разное время написания, оба произведения затрагивают актуальную для многих умов XIX в. проблему – нужно ли и как оберегать врожденную связь с природой. Торо отвечает на данный вопрос примером собственной жизни – пруд, лес, хижина. Ирвинг изображает противостояние карикатурного героя, чьи несурзные попытки воссоединиться с окружающей красотой вызывают лишь ироничную усмешку, «настоящему» янки, которое заканчивается полным разгромом первого. Стоит отметить, что подход обоих писателей к проблеме (добровольное уединение на лоне природы) был отнюдь не характерен для большинства их сограждан (пример отношения американцев к созерцателям прекрасного можно увидеть в новелле Ирвинга «Рип ван Винкль»), но эта концепция стала основополагающей для других американских писателей-романтиков XIX в.

Во время написания «Книги эскизов» Ирвинг мог только предощущать те идеи, которые начали детально обсуждаться лишь в 30-е – 40-е гг. XIX в., когда лидирующие позиции в интеллектуальной среде Новой Англии занял трансцендентализм. Его основоположником стал писатель, мыслитель и ученый Ральф Уолдо Эмерсон. Впоследствии к трансцендентальному кружку примкнули Генри Торо, Бронсон Олкотт, Уэллери Чаннинг, Маргарет Фуллер и другие выдающиеся умы Новой Англии. Одним из членов клуба числился и Натаниэль Готорн – один из известнейших писателей той эпохи. Именно его творчество (а точнее, некоторые его моменты) мы можем сопоставить с «Уолденом». Речь в данном случае идет об очерке Готорна, посвященном сале́мскому источнику, и главе «Пруды» у Торо. Так, Готорн воспекает «веселую и неутомимую струю воды, одинаково радостно утоляющую жажду богачей и бедняков»⁸. Писатель восхищается «этим неутомимым источником жизни, из которого черпали влагу индейские вожди и первые губернаторы колоний и который будет по-прежнему жить, когда истлеют в земле кости современников»⁹. Похожее отношение к воде Готорн выразит в одной из лучших своих новелл – «Дочь Рапачини»¹⁰ (1844).

«Струи воды, однако, по-прежнему взлетали в небо, весело переливаясь в ярких лучах солнца. Их нежное журчание доносилось до окна комнаты, и молодому человеку чудился в нем голос бессмертного духа, который поет свою бесконечную песнь, равнодушный к свершающимся вокруг него переменам, в то время как одно столетие заключает его в мрамор, а другое превращает эти тленные украшения в груды обломков»¹¹.

В описании одного из прудов Торо, словно перефразируя Готорна, говорит следующее: «Ве-

роятно, не одно племя пило из него, любовалось им, мерило его глубину и исчезало с лица земли, а его вода все так же зелена и прозрачна. Никогда не иссякал этот источник»¹² (с. 116).

Сходство приведенных выше цитат очевидно. Несмотря на то что данные произведения не пересекаются хронологически, объяснить эту параллель значительно легче, чем предыдущую. Оба писателя были хорошо знакомы по кружку трансценденталистов, а в записных книжках Готорна неоднократно упоминаются регулярные визиты в уолденскую хижину и беседы с её хозяином. В привычках Готорна и Торо также было много общего, взять хотя бы их страстную приверженность к одиночеству и любовь к родным краям. Нет никаких сомнений в том, что Торо был хорошо знаком с творчеством Готорна, а их долгие беседы на лоне природы свидетельствуют о родстве идей. Наряду с Ирвингом они считают водоём необходимым условием для достижения умиротворенного состояния. Более того, в их сознании вода – главный источник жизни. Она хранит в себе вековую мудрость, ей чужды социальные условности, она дает жизнь всем без исключения, начиная от индейцев и заканчивая представителями нынешней цивилизации. Источники у Торо и Готорна несут в себе частицу той сверхдуши, которую видел в природе Эмерсон.

Можно сказать, что тема рая на земле рассматривается упомянутыми нами авторами в идентичном ключе. Для них этот рай заключался в природе, в ней они искали и находили гармонию, именно в любви к ней видели предназначение индивида. Различие между писателями состоит лишь в том, что Торо не видел необходимости доказывать свои убеждения путем создания вымышленных персонажей и ситуаций. Свою теорию он подтвердил собственной жизнью и увековечил в творчестве. Ирвинг и Готорн ввиду ряда причин не могли позволить себе такой опыт добровольного отшельничества, но их идеи во многом совпадали с идеями Торо.

Примечания

- ¹ См: The Penguin History of Literature // American Literature to 1900. Penguin: Harmondsworth, Middlesex, 1993; Проблемы истории литературы США. М., 1964; Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. М., 1982; Литературная история США: В 3 т. М., 1977. Т. 1.
- ² *Thoreau H. D. Walden: or, Life in the Wood*//The Harper American Literature: Harper Collins College Publishers, 1987. Vol. 1. Далее цитируется это издание с указанием страниц.
- ³ *Irving W. Faler / Сост. Ю.В. Ковалев. М., 1992.* Далее цитируется это издание с указанием страниц.
- ⁴ «Though many years have elapsed since I trod the drowsy shades of Sleepy Hollow, yet I question whether I should not still find the same trees and the same families, vegetating in its sheltered bosom». (*Ирвинг В. Легенда о Сонной*



- Лошине // Маска Красной Смерти. СПб., 1993. С. 66). Далее цитируется это издание с указанием страниц.
- ⁵ «Almost the same johnswort springs from the same perennial root in this pasture» (*Thoreau H. D.* Op. cit. P.1445).
- ⁶ *Торо Г.Д.* Уолден, или Жизнь в лесу. М., 1962. Далее цитируется это издание с указанием страниц.
- ⁷ «If ever I should wish for a retreat, wither I might steal from the world and its distractions, and dream quietly away the remnant of a troubled life, I know of none more promising than this little valley». (*Irwing W.* Op. cit. P. 65).
- ⁸ См: *Левинтон А.* Предисловие // *Готорн Н.* Новеллы. М.; Л., 1965. С.14.
- ⁹ Там же.
- ¹⁰ *Hawthorne N.* Rappaccini's Daughter // *Hawthorne N.* Selected Stories and Sketches, 1970. Далее цитируется это

- издание с указанием страниц; *Готорн Н.* Дочь Рапачини // *Готорн Н.* Новеллы. М., 1965. Далее цитируется это издание с указанием страниц.
- ¹¹ «The water, however, continued to gush and sparkle into the sunbeams as cheerfully as ever. A little gurgling sound ascended to the young man's window, and made him feel as if the fountain were the immortal spirit that sung its song unceasingly and without heeding the vicissitudes around it, while one century embodied it marble and another scattered the perishable garniture on the soil» (*Hawthorne N.* Op. cit. P. 330).
- ¹² «Successive nations perchance have drank at, admired, and fathomed it, and passed away, and still its water is green and pellucid as ever. Not an intermitting spring» (*Thoreau H.D.* Op. cit. P. 1458).

УДК821.112.2.09–31+929 Мюллер

МОДАЛЬНОСТЬ ТРАВМЫ: ГОРОД В РОМАНЕ ГЕРТЫ МЮЛЛЕР «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОДНОЙ НОГЕ»

Д.С. Кабанова

Университет Иллинойса, Урбана-Шампейн, США
E-mail: dkabano2@uiuc.edu

На материале не переведенного на русский язык романа современной немецкой писательницы Герты Мюллер рассматриваются взаимоотношения между принципами репрезентации травмированного сознания и принципами репрезентации городского пространства в постмодернистском романе, обнаруживается их внутренняя взаимосвязь.

Ключевые слова: теория травмы, репрезентация пространства, «роман большого города», мимесис, Герта Мюллер, Анри Лефевр.

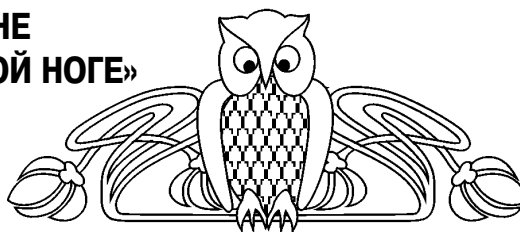
A Traumatic Modality: the City in Herta Müller's «Reisende auf einem Bein»

D.S. Kabanova

Herta Müller's *Reisende auf einem Bein* provides material for reflection on complex correlation between traumatic subjectivity and representation of urban space in postmodernist *Großstadtroman*. Bringing together post-Lacanian trauma theory and Henri Lefebvre's concept of space, the article argues that the fragmented city in *Reisende* is not only a textual manifestation of traumatic experience, but simultaneously a therapeutic reconstruction of the possibility of symbolizing trauma.

Key words: trauma theory, postmodern subjectivity, representation of urban space in the novel, Herta Müller, Henri Lefebvre.

...Определяют лик города Дзаиры отношения, связывающие пространственные измерения и события былых времен: к примеру, расстояние от земли до фонаря и ноги узурпатора, что был там вздернут; проволоку, протянутую от фонарного столба к ближайшему балкону, и гирлянды, украшающие путь, которым следовал кортеж в день бракосочетания королевы; расположение водостока и исполненное важности движение по



нему kota, что прошмыгнул в окно за упомянутым балконом; траекторию снаряда канонерки, вынырнувшей из-за мыса, и ядро, ударившее в водосточную трубу; дырявые рыбацьи сети и трех стариков, что, починяя их на молу, рассказывают в сотый раз про канонерку узурпатора, который был как будто бы побочным сыном королевы, в пеленках брошенным на этом же молу.

Итало Кальвино. Незримые города

Оформление в 1990-е гг. теории травмы как самостоятельного направления в гуманитарном знании опиралось на знаменитое высказывание Жака Лакана о необходимости возвращения к Фрейду: «смысл возвращения к Фрейду есть возвращение к фрейдовскому смыслу»¹. Эта намеренно «темная» формула стимулировала новую волну интереса к текстам Фрейда, которые были изрядно скомпрометированы критикой со стороны разных дисциплин, накопившейся с момента смерти основателя психоанализа. Позже Лакан будет доказывать применимость своего обновленного варианта фрейдизма не только к индивидуальному, но и к коллективному; теория травмы стала местом встречи Лакана, Фрейда и постмодернистского жизненного опыта, провозгласившего себя травматичным по определению. Интерес к теории травмы для западных ученых² состоял еще и в том, что этот раздел критической теории позволял преодолеть методологическую неопределенность постмодернизма, недостаток действенного начала в нем, поскольку теория травмы не ограничивается описанием механизмов действия исторической травмы. Теория травмы пропитана изначальным клиническим пафосом



психоанализа, она направлена на исцеление, на то, чтобы избавиться от травмы, озвучив, проговорив ее.

Немецкая культурная и литературная история XX в. была особенно продуктивной почвой для развития теории травмы. Книги Джулии Хелл³ и Черити Скрибнер⁴, описывающие текстуальные и культурные репрезентации двух главных событий в немецкой истории XX столетия (соответственно комплекса событий периода фашизма/холокоста и крах социализма), во многом определили способы концептуализации исторической травмы в гуманитарных науках и показали, что современная немецкая литература представляет богатый материал для исследования индивидуальной, коллективной, исторической травмы.

Мы обратимся к роману «Путешествие на одной ноге» («Reisende auf einem Bein», 1989)⁵ немецкой писательницы Герты Мюллер (р. 1953). Она родилась и выросла в Румынии, в 1987 г. по политическим мотивам эмигрировала в Берлин и стала лауреатом множества престижных литературных премий. Ее стихи, романы, рассказы, эссе переведены на двадцать языков мира; на русский язык из прозы Мюллер переведен один рассказ⁶. Рассматриваемый роман пока не знаком русскому читателю. Его героиня Ирене эмигрирует в Германию из неназванной страны в Восточной Европе (Румыния), казалось бы, чтобы избежать политического преследования, но, как выясняется, еще и потому, что ее грызет экзистенциальная тоска. Эта тоска только усиливается, когда Ирене приходится приспособливаться к эмигрантской жизни в Берлине. Она скитается по общежитиям для эмигрантов, с трудом ориентируясь в пространстве большого города и в своих чувствах по отношению к нескольким мужчинам, которых она встречает в Берлине. Ирене ощущает себя изолированной от мира и пытается держать тоску по дому под контролем, но ее жизнь – это постоянный кризис восприятия. Надежда вернуть жизни смысл, когда у нее появится место, которое она может считать своим, исчезает в тот самый момент, когда Ирене понимает, что и ее новая квартира, о которой она так долго мечтала, – это пространство, которое подчиняется тем же непонятным правилам, что и весь город. Тем не менее, наблюдая за городской жизнью и привыкая к месту, которое она не может приучиться называть своим домом, Ирене понемногу приходит к пониманию того, что она пройдет через испытание чередой эмоциональных и философских сдвигов и примирится с новой версией себя, ставшей старше, мудрее и наблюдательнее.

Как и все произведения Мюллер, роман привлек большое внимание критики. Одни рассматривают его с позиций теории травмы, другие сосредотачиваются на способах подрыва в романе модернистской эстетики, третьи – на проблемах лиминальности/маргинальности, которые присутствуют в тексте на уровне категорий национальной культуры и гендера. Роман ставит вопрос,

полностью созвучный критической теории: что это значит, писать не изнутри данной культуры, а находясь на самом ее краю? Их трех обозначенных подходов наиболее содержательным и проблемным представляется прочтение романа с позиций теории травмы.

Бригит Хейнс привлекает роман для подтверждения своего тезиса о «диалектике исторической специфики и вневременной универсальности»⁷, присущей любой травме. В романе Мюллер она усматривает изображение такой травмы, которая «несомненно имеет место, однако ее причины ускользают от репрезентации, поскольку они в принципе не синтезируются в понимании отдельной личности»⁸. В героине романа Ирене она видит типичного «травмированного индивида» с «типичными, хотя исторически специфичными, симптомами»⁹. Травма в прочтении Хейнс полностью объясняет внутренний мир героини, потому что он не просто изменяется под воздействием травматичного опыта, а основан на способе травматической реакции на внешний мир. Хейнс показывает, что героиня «нормализует» травму: на протяжении почти всего романа Ирене испытывает эмоции, переживаемые при травме – притупление всех ощущений, распад личности. Исследовательница находит много общего между состоянием героини романа и клинической картиной травмы в психиатрии (обсессивно-компульсивное расстройство, страх, раздвоение личности), определяет источник травмы (опыт жизни в тоталитарной Румынии и переезд в Германию), однако в способах борьбы с травмой обнаруживается нечто необычное. Героиня слишком переменчива, слишком мало обращает внимания на свою травму, что превращает ее в «постмодернистского кочующего субъекта», чья идентичность ни к чему не привязана и направляется исключительно желанием. По мнению Хейнс, к концу романа Ирене приобретает некоторую власть над собой, удачно преодолевает самую глубокую стадию травмы, научается жить со своими симптомами, а возможно, и наслаждаться ими. Из анализа Хейнс, таким образом, следует, что даже необычная травма преодолевается с помощью известных, описанных в психоанализе приемов.

Для Лин Марвен, подчеркивающей автобиографизм романа, присутствие травмы в нем заключается в самом акте его написания, а также в способах репрезентации тела. Образы тела в романе строятся по той же стратегии, что и повествование в целом: растворение границ, растворение личности, фрагментация, т.е. «повествовательная форма как бы имитирует последствия травмы»¹⁰. Этот роман – не просто «стенограмма» травмы, а текст, сознающий свою литературную природу; это «артефакт» травмы, в котором «уничтожена граница между реальным и нереальным, между дискурсом и историей»¹¹.

Вопросы маргинальности/лиминальности в романе, а также сознания, перемещенного из род-



ной культуры в новую, раскрывают работы Карин Бауэр¹² и Антье Харниш¹³, но самым продуктивным подходом к «Путешествию...» представляется обращение к теме города. Эта объемлющая весь роман тема сводит воедино проблемы травмы и последствий эмиграции, с одной стороны, и жанра, культурной и художественной политики, с другой. Изображение города в романах часто служит отправной точкой для рассмотрения разнообразия уровней текста; посмотрим, как «Путешествие...» нарушает условности модернистского романа о городе, и это направление анализа послужит, мы надеемся, ключом к постмодернистской эстетике романа, к проблемам травмы и субъективности в нем.

Маргарет Литтлер исследует «постмодернистское» переживание опыта городской жизни в романе и полагает, что город в романе представляет собой «расплывчатое и противоречивое»¹⁴ место. Само это слово располагает роман в традиции жанра «романа большого города» (Großstadtroman), и с точки зрения сюжета, и с точки зрения того, как создается в тексте образ города. Попадая из «сельского», идиллического (пусть извращенного социализмом) пространства «другой страны» в город, героиня переживает отчуждение, хорошо знакомое всем протагонистам «романа большого города». Отчуждение, согласно жанровой конвенции, передается путем персонафикации города, превращения города в своеобразного «Другого» для протагониста, с тем чтобы герой имел возможность «смотреться» в город, видеть свое отражение в нем и в финале предстать (или не предстать) обновленным, заново родившимся человеком. И в нашем тексте есть множество примеров изображения города то в качестве объекта, на который устремлено внимание героини, то в качестве «Другого», чей взгляд устремлен на саму героиню.

Но изображение города в романе не вполне вписывается в эту модель. Отступление романа от канонического модернистского изображения города состоит в том, что город перестает быть местом, к которому протагонист ощущает свою принадлежность, а превращается в концептуальное пространство урбанистического пейзажа, что предопределяет совершенно иные принципы репрезентации города.

В «Производстве пространства» Анри Лефевр утверждает: «Любой живой организм есть пространство, и ему принадлежит пространство: он живет в определенном пространстве, а также производит это пространство»¹⁵. Искусство, по Лефевру, заключается в том, чтобы «увести из наличного пространства, от того, что близко, вдаль, <...> к символам, в пространства репрезентаций»¹⁶. Это добавление в концепцию искусства как мимесиса в той ее части, что касается способов воплощения пространства в искусстве. Текстуальное отражение пространства (лефевровский «символ») призвано маскировать подлежащие тексту механизмы концептуализа-

ции, т.е. процессы символического производства пространства. Таким образом, художественное пространство не *воспроизводится* по принципу подражания, мимесиса, а *конструируется* на уровне концепции и текста и тем самым присваивается.

«Путешествие...» бросает вызов жанру «романа большого города» и тем, что концептуализация города сопровождается здесь концептуализацией способов изображения города, саморефлексией по поводу образов города. Сквозные метафоры, на которых строится восприятие города героиней, и авторская репрезентация этого восприятия – это «случайность» (Zufall), «пустота» (Leere), «направление» (Richtung), «пересадка/перемена/граница» (Umsteigen/Abwechslung/Grenze), «близость» (Nähe) и «оборотная сторона» (Rückseite). Они постоянно используются не для прямого описания художественного пространства, а для метафоризации отношений и положения персонажей относительно друг друга и при этом создают впечатление фрагментации, разорванности пространства. Важно отметить, что эта метафорика относится не столько к содержанию, сколько к функции репрезентации: она не только концептуализирует городской опыт героини, но и проливает свет на принципы репрезентации города в романе. Относительно фрагментированного переживания постмодернистского города эти метафоры можно оценить как миметические, но они одновременно метафоризируют динамичность репрезентации, модальность конструирования текстуальной репрезентации городского опыта личности.

Метафора случайности, Zufall, выражает самосознание текстом своей литературной природы и, более того, саму модальность репрезентации жизненного опыта в романе. Ирене отдает себе отчет в случайных совпадениях визуальных, исторических, эмоциональных впечатлений, которые она переживает в Берлине¹⁷; на интертекстуальном уровне сам роман является «совпадением»: он продолжает постмодернистскую модель репрезентации города, впервые предложенную Итало Кальвино в «Незримых городах» (1972), где повествователь, Марко Поло, утверждает, что города состоят из впечатлений, которые они производят на приезжих, из динамики, взаимоположенности и функционирования элементов города, как их воспринимают приезжие и городские жители. В романе Кальвино имя героини «Путешествия...», Ирен, является именем самого необычного из описываемых городов, города, который существует исключительно в восприятии и репрезентации: «Кублай-хан ждет, чтоб Марко рассказал, как выглядит Ирена изнутри. Но это невозможно: что представляет собой город, с плоскогорья именуемый Иреной, Марко так и не узнал, но, впрочем, это и не важно, тот, кто там окажется, увидит не ее, Ирена – название города, который виден издали; если же смотреть вблизи, он будет называться по-иному.



Для тех, кто миновал его не заезжая, и для тех, кто им пленен и выбраться не может, город разный; он один, когда ты приезжаешь туда впервые, и другой, когда ты покидаешь его, чтобы больше не вернуться, и каждый из двух городов заслуживает своего названия; возможно, я уже описывал Ирину под другими именами; возможно, я о ней одной и говорил»¹⁸.

Предпосланная настоящей статье цитата из Кальвино воплощает способ репрезентации в «Путешествии...»: это репрезентации, имеющая в виду прежде всего соотнесенность между элементами целого, а не сами эти элементы, она нацелена на механизмы текстуализации пространства, а не на пространство, получающееся в результате текстуализации, она заинтересована в функции репрезентации больше, чем в ее содержании, она направлена на «бормотание, изливающееся из трещин», если вновь воспользоваться словами Кальвино.

Это прочтение подтверждается прочими организующими метафорами «Путешествия...», которые все работают на создание городского пространства как динамичного, хотя и прерывистого, *текстуального* континуума. Иными словами, вся эта метафорика обнажает механизмы символизации, задействованные в создании текстуальной репрезентации пространства.

Городское пространство в романе организуется как направление (Richtung), когда Ирине, застряв между вращающихся дверей, ощущает только направление своего движения, или когда она в состоянии полного бессилия как бы позволяет своей квартире пройти сквозь себя: «Ирине проволокла чемодан через лестничную клетку. Потом насквозь через нее прошел коридор. Потом кухня. Потом ванная...»¹⁹. Пространство может быть непредставляемым, замещаться ярлыком «пустота» (Leere), обозначающим провал в символизации; пространство может быть представлено в терминах обмана или вывернуто наизнанку с тем, чтобы показать его собственную оборотную сторону: «Листья деревьев были оборотной стороной листьев. Деревья – оборотной стороной деревьев. Весь город был оборотной стороной города»²⁰.

Неожиданной всего Ирине концептуализирует пространство с помощью категории «близости». Во время поисков «внутреннего содержания дня» («eine innere Vorstellung vom Tag»), она размышляет: «Наверное, это содержание было как-то, чем-то прикреплено ко сну... к теплоте кожи. Наверное, к цветку полов, на которые падает свет. К направлению стрелки компаса, или к близости парка. А может быть, к автобану... Или к книге. Я это выясню, когда у меня будет квартира»²¹.

Хотя и получение собственной квартиры не приносит ей душевного спокойствия, важно, что ее поиски смысла идут через осмысление пространственных соотношений, степени близости между предметами. Героине исключительно

важно, что между отдельными элементами разорванного городского пространства можно установить смысловую близость, и поиск этих смыслов – и значит связующих линий в хаосе своего жизненного опыта – она ведет на протяжении всего романа.

Этот поиск предопределяет «кочевую субъективность» героини; такой тип субъективности можно понимать, вслед за Лаканом, как осознание того факта, что субъективность не бывает статичной, а представляет собой серию изменяющихся позиций субъекта. Мы полагаем, что именно это осознание объясняет необычность травмы Ирины; такое понимание совмещает событие, послужившее причиной травмы, и постоянство, «нормализацию» травмы, о которой пишет Б. Хейнс, в цепочку изменчивых субъективностей.

Прочтение «Путешествия...» сквозь призму теории травмы дает возможность предположить, что фрагментация пространства в романе является текстуальным результатом либо некоего события-травмы, либо изначально травмированной, вобравшей в себя травму как норму, постмодернистской субъективности. При этом отчуждение пространства в тексте может быть интерпретировано одновременно и как симптом травмы, и как механизм, позволяющий преодолеть последствия травмы. Как фрагментация пространства оказывается необходимым условием для вскрытия механизмов текстуализации большого города, способов изображения человеческих переживаний в урбанистической среде, точно так же разорванная картина города в романе оказывается необходимым условием для воплощения опыта травмированного сознания в целостном тексте. Именно прием фрагментации позволяет травме обрести свой голос, стать осязаемой, наглядной для читателя, и диалектика двух временных измерений травмы, о которой шла речь в начале работы, объясняет возможность одновременного переживания симптомов травмы и ее излечения.

«Путешествие...» Мюллер подходит к «роману большого города» со столь же саморефлективных позиций, как и роман Кальвино. Роман Мюллер открывает новые пути и в изображении травмы, не столько размышляя о травмированном сознании, сколько своей формой воплощая такое сознание. Поскольку внешние «симптомы травмы» являются единственным способом доступа к переживанию травмы, фрагментированный город «Путешествия...» предстает не просто как текстуальное воплощение травмы, но и терапевтическая конструкция: символизируя травму, мы исцеляемся от ее последствий. Изображение города в романе – своего рода эквивалент беседы с психоаналитиком как для героини, так и для всего текста; и этот сеанс разговорной терапии даже отчасти успешен, поскольку именно его фрагментированная природа гарантирует возможность текстуальной репрезентации символических структур.



Примечания

- ¹ *Lacan J.* The Freudian Thing, or the Meaning of the Return to Freud in psychoanalysis // *Écrits: The First Complete Edition in English.* Trans. Bruce Fink. N.Y.; L., 2006. P. 337.
- ² Важнейшие работы по теории травмы: *Caruth C.* Trauma: Explorations in Memory. The Johns Hopkins University Press, 1995; *Schama S.* Landscape and Memory. N.Y., 1996; *Leyš R.* Trauma: A Genealogy. University of Chicago Press, 2000; *Edkins J.* Trauma and the Memory of Politics. Cambridge University Press, 2003.
- ³ *Hell J.* Post-Fascist Fantasies: Psychoanalysis, History and the Literature of East Germany. Durham, 1997.
- ⁴ *Scribner C.* Requiem for Communism. Cambridge, 2003.
- ⁵ *Müller H.* Reisende auf einem Bein. Berlin, 1989.
- ⁶ *Мюллер Г.* Эссе / Пер. с нем. М. Белорусца // Иностранная литература. 2005. № 4.
- ⁷ *Haines B.* The Unforgettable Forgotten: The Traces of Trauma in Herta Müller's «Reisende auf einem Bein» // *German Life and Letters.* 2002. 55/3 July P. 268.
- ⁸ *Ibid.* P. 266.
- ⁹ *Ibid.* P. 272–273.
- ¹⁰ *Marven L.* Body and Narrative in Contemporary Literatures in German: Herta Müller, Libuše Moniková, Kerstin Hensel. Oxford University Press, 2005. P. 83.
- ¹¹ *Ibid.* P. 103.
- ¹² *Bauer K.* Tabus der Wahrnehmung: Reflexion und Geschichte in Herta Müllers Prosa // *German Studies Review.* 1996. Vol. 19, № 2. May. P. 257–278.
- ¹³ *Harnisch A.* Ausländerin im Ausland: Herta Müller's «Reisende auf einem Bein» // *Monatshefte für deutschsprachige Literatur und Kultur.* 1997. 89/4. P. 507–520.
- ¹⁴ *Littler M.* Beyond Alienation: The City in the novels of Herta Müller and Libuše Monikova / *Haines B.*, ed. Herta Müller. Cardiff, 1988. P. 36.
- ¹⁵ *Lefebvre H.* The Production of Space. Trans. Donald Nicholson-Smith. Boston, 1991. P. 170.
- ¹⁶ *Ibid.* P. 231–232.
- ¹⁷ «Alles, was Irene sah, war ein Zufall. Es hätte auch anders sein können. Und es war auch anders, schon im nächsten Augenblick» («Reisende...», 75).
- ¹⁸ *Calvino I.* The Invisible Cities. Trans. William Weaver. San Diego; N.Y.; L., Inc., 1978. Русский перевод Н. Ставровской, использованный и в эпитафии, цит. по: <http://calvino.viesel.ru/mainframeset.html>
- ¹⁹ «Irene trug den Koffer durch Stiegenhaus hoch. Dann ging der Flur durch sie hindurch. Dann eine Küche. Dann ein Bad...» («Reisende...», 38–39).
- ²⁰ «Die Blätter der Bäume waren die Rückseite der Blätter. Die Bäume waren die Rückseite der Bäume. Die ganze Stadt war die Rückseite der Stadt» («Reisende...», 58).
- ²¹ «Vielleicht hing diese Vorstellung zusammen mit dem Schlaf... Mit der Wärme der Haut. Mit der Farbe der Fußböden vielleicht, auf die das Licht fiel. Mit der Himmelsrichtung, oder mit der Nähe eines Parks. Vielleicht mit einer Autobahn... Oder mit einem Buch. Das wird sich herausstellen, wenn ich eine Wohnung hab» («Reisende...», 36).



ЖУРНАЛИСТИКА: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА

УДК 81–13

ТОЛЕРАНТНОЕ И ИНТОЛЕРАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СМИ

А.М. Шур

Саратовский государственный университет,
кафедра английской филологии
E-mail: Philology@sgu.ru

В статье анализируются проблемы толерантного и интолерантного поведения в российских и американских СМИ.

Ключевые слова: толерантное/интолерантное поведение, СМИ, язык вражды, речевая агрессия.

Tolerant and Intolerant Behavior in Mass Media

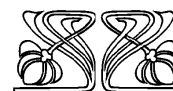
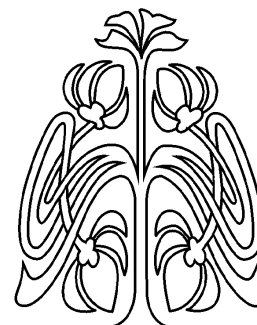
A.M. Shur

The article considers the problems of tolerant and intolerant behavior in Russian and American mass media.

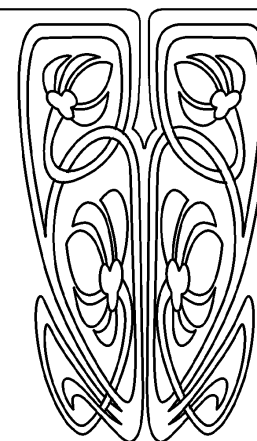
Key words: tolerant/intolerant behavior, mass media, hate speech, verbal aggression.

В последние десятилетия XX в. произошли радикальные изменения в различных сферах общества. В настоящее время мы можем повсеместно наблюдать проявления социальной нестабильности, связанные, в первую очередь, с выражением агрессии и нетерпимости. Произошли значительные модификации и в построении образов представителей разных наций и этнических групп. Не последнюю роль в данных процессах играют миграция и увеличение числа политических, экономических и культурных контактов между членами различных этнических групп. К сожалению, недостаток практики межкультурных и межэтнических контактов приводит к формированию негативных этнических стереотипов, что зачастую способствует возникновению и распространению агрессивности, жестокости и насилия по отношению к тем или иным этническим группам.

Многие политологи и социологи склонны называть СМИ «четвертой властью», так как журналистика действительно стала главным инструментом в формировании общественного мнения, научилась удовлетворять даже самые радикальные информационные потребности, выходя порой за рамки общепризнанной современностью морали. Журналисты могут с легкостью влиять на сознание подверженных им масс, манипулировать мнениями, являться фактором социального управления. СМИ часто играют большую роль в формировании этнических предрассудков, предрассудков и негативных стереотипов у широких слоев населения. Поэтому необходимо выдвижение на первый план журналистики, которая реализовывала бы все многообразие своих функций: прогностическую, образовательную и др. В средствах массовой информации наиболее рельефно представлены проблемы формирования толерантных отношений, которые идут в обществе, равно как и профилактика экстремизма. Одной из таких проблем является противостояние языку вражды в СМИ. Согласно рекомендации Кабинета министров Совета Европы № R (97) 20, hate speech, т.е. «язык вражды», определяется как все формы самовыражения, которые



НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ





включают распространение, провоцирование, стимулирование или оправдание расовой ненависти, ксенофобии, антисемитизма или других видов ненависти на основе нетерпимости, включая нетерпимость в виде агрессивного национализма или этноцентризма, дискриминации или враждебности в отношении меньшинств, мигрантов и лиц с эмигрантскими корнями¹. Как справедливо замечает И.М. Дзялошинский, словосочетание «язык вражды» – это метафорический эквивалент понятия «речевая агрессия», под которым подразумевают специфическую форму речевого поведения, мотивированную агрессивным состоянием говорящего².

Агрессия в медиакulturе может выражаться двумя способами. Во-первых, автор прямо призывает адресата к агрессивным действиям. Во-вторых, автор подачей предмета речи вызывает или поддерживает агрессивное состояние адресата.

Если вы, скажем, обратитесь к собственному опыту и вспомните, что вас сильно раздражило в последнее время, что в вас вызвало агрессивное состояние, у каждого это будет свой личный, индивидуальный случай. Выбор большой, жизнь предоставляет много возможностей для агрессивного состояния. Но здесь важна не конкретика, т.е. какая ситуация у вас вызвала агрессию, а ее следствия: что за ней следует? Психологи нам ответят, что мы испытываем агрессивность в том случае, если сознательно или бессознательно чувствуем угрозу: угрозу себе, своим близким, своему комфорту, угрозу привычному укладу жизни, и это чувство угрозы вызывает неприятие, отталкивание и агрессивное состояние. Следующий шаг после агрессии – это подозрительность, поиск виновных в нашем дискомфорте.

Этот же самый механизм действует в социальных группах. В 1990-е гг. большинство населения России испытало чувство утраты, девальвации привычных ценностей, исчезли или поменялись ценностные ориентиры в жизни, что вызвало глубинное чувство агрессии. Большая часть населения сегодня испытывает чувство униженности как на личностном, так и на социальном уровне (врачи, учителя, рабочие) и отождествляет себя с притесняемыми. Для притесняемого свойственно гипертрофированное чувство психологической униженности, обусловленное отсутствием покупательской способности. Дальше следует любимый русский вопрос: кто виноват? И начинается поиск врагов.

Опираясь на лингвистический анализ текстов, можно выделить несколько образов врага в современной прессе. Во-первых, враг в виде власти, власть имущих: политики, которые называются прямо, и политики всех уровней властных структур, названные обобщенно (власть, чиновники, демократы). Этот политический образ врага включается в текстах в оппозицию «народ

и власть». Например, «режим Буша превратил американцев в бестолковых марионеток»³.

Во вторых, врага ищут среди этнически чужих на фоне доминирующей этнической группы русских. Лексика, имеющая негативную окраску и находящаяся за пределами литературного языка, выплескивается на страницы газет и способствует развитию агрессии, возвращает, подпитывает нашу агрессию. Речь идет уже не о толерантном отношении к чужим, а о недопустимом в прессе лингвистическом воплощении интолерантной позиции. Для журналистов должна быть значима не только пропаганда толерантного отношения к чужим, но и речевая толерантность в случае демонстрации нетолерантной позиции. Ярким примером этого может послужить цитата из журнала «Топос»: «Есть такие, с которыми можно договориться. Это русские. Каждый порядочный человек на земле русский. А есть такие, с которыми договориться нельзя. Это нерусские»⁴. Данный отрывок демонстрирует откровенно расистское отношение к представителям других национальностей. Автор стремился показать националистические идеи, популярные в современном обществе, и осудить их, но не смог выразить интолерантную позицию толерантным способом.

В-третьих, появившийся в нашей прессе примерно с середины 1999 г. внешний враг, который встраивается в исторически и культурно маркированную оппозицию «Россия – Запад». В связи с образом внешнего врага уместно вспомнить о том, что преодолению социальной униженности может способствовать формирование положительного «Мы»-образа. Однако, по данным федеральной и местной прессы, в России положительный «Мы»-образ начинает формироваться в рамках тоталитарного мышления, т.е. мы ищем врага извне, чтобы показать, какие мы хорошие. И, к сожалению, примеры подобного противопоставления встречаются даже в таких государственных изданиях, как «Российская газета». Л. Енина приводит пример, как один из выпусков этой газеты несколько лет тому назад открывался статьей о программисте, которого привлекают за действия с компьютерными программами в Соединенных Штатах Америки. И призыв на первой странице российской газеты: давайте ему поможем, наш русский парень окажется в суде в Соединенных Штатах, в руках американцев. То есть не говорится о легальной основе «виноват – не виноват», а все сводится к противопоставлению «русский – американцы», которые его захватили или хотят его лишить свободы⁵.

В последнее время противостояние русские-американцы в российских СМИ перестало быть таким острым, как в предыдущие годы. Однако в выпуске «Комсомольской правды» за 30 октября 2008 г. встречается статья, подзаголовок которой звучит следующим образом: «Об идеализме и идиотизме американцев». В ней среднестатистический американец представлен, как «безумный



идеалист, который уничтожит половину человечества, если сочтет, что это человечеству на благо»⁶.

Если обратимся к американской прессе, то увидим, что при освещении проблемы российско-американских отношений там присутствуют обвинения в ущемлении демократии, прав человека и свободы прессы. Статья в «BusinessWeek» от 4 июня 2008 г. называется: «Россия – друг или враг?». Автор открыто называет Россию «самым большим разочарованием за последние годы»⁷. Такой подход к освещению российской тематики характерен не только для американских СМИ, но и для европейских. Проблема интолерантного поведения в СМИ – это проблема не только общества одного отдельно взятого государства, но вопрос общемирового масштаба.

Толерантность, равно как и интолерантность можно отнести к символически обобщенным средствам коммуникации. Это означает, что как толерантное, так и интолерантное коммуникативное поведение является следствием принадлежности к определенной социальной системе. Более того, оно используется личностью как обозначение и утверждение определенной идентичности, выраженной через набор символически обобщенных средств коммуникации.

Так, «массовые информационные коммуникации структурируются посредством тематизаций, то есть актуальных, стоящих на «повестке дня» вопросов. Причем их количество ограничено, а роль их формирования принадлежит в основном СМИ. Выход тематизаций толерантности в «повестку дня» мировых и отечественных СМИ можно рассматривать как реализацию прогностической функции журналистики, свидетельствующей о том, что в будущем эта проблема еще более обострится»⁸.

Очевидно, что проблематика толерантности прочно утвердилась в «повестке дня», но это не позволяет еще утверждать, что корректировка интолерантных коммуникативных действий осуществляется эффективно. Одна из основных причин данного явления – недостаточное понимание сути проблемы толерантности профессиональным журналистским сообществом. Это притом, что журналистика, будучи основополагающей частью информационно-коммуникативной системы общества, выступает наиболее благоприятной почвой, на которой произрастает принцип толерантности.

Сегодня не существует четких критериев определения толерантного и интолерантного поведения в СМИ. На данный вопрос пока еще не смогли дать ответ ни исследователи, ни законодатели, ни пишущие на эту тему журналисты. Как показывает анализ различных медийных источников, многие журналисты используют лексемы с негативными этническими коннотациями ненамеренно, без расистского умысла. Причиной может быть недостаток в качестве их

профессиональной подготовки в целом и неспособность адекватно воспринимать и освещать межэтнические конфликты в многонациональном сообществе. Поэтому возникает насущная необходимость в формировании толерантного поведения студентов-журналистов. Преодоление «языка вражды» ни в коем случае нельзя сводить к цензуре, штрафным санкциям или ограничению свободы слова. Журналисты и политические деятели сходятся во мнении о том, что большую роль в отказе от вербальной агрессии могут сыграть обучающие мероприятия и общественные дискуссии, а также введение специализированных дисциплин по обучению толерантному поведению будущих журналистов в процессе их профессиональной подготовки.

Основой профессиональной подготовки журналистов должны стать принципы поликультурного образования, концепции диалога культур, предложенных М.М. Бахтиным, и педагогической антропологии «нового гуманизма». Медиакультура на новом уровне технических возможностей (спутниковое телевидение, видео, Интернет и т.д.) эффективно способствует объединению культур, создает невиданные прежде возможности для диалога культур на глобальном (диалог культур наций, стран), межличностном и интровертном (внутриличностном) уровнях. Журналистское образование опирается на возможность «диалога культур», который позволяет избежать национальной замкнутости, выйти на уровень сопоставления, сравнительного анализа различных дидактических подходов в различных странах планеты, а следовательно, постоянно совершенствовать педагогическую теорию и методику. М.М. Бахтин пришел к теории «диалога культур» через анализ проблемы «другого». Так, по его мнению, автор произведения (говоря современным языком, – автор медиатекста) «должен стать другим по отношению к себе самому, взглянуть на себя глазами другого»⁹, т.е. соединить в своем мышлении и деятельности различные культуры и нравственно-ценностные ориентиры.

Борьба с проявлениями интолерантного поведения в массмедийном пространстве – одна из важнейших проблем современного общества. Многие журналисты и общественные деятели предлагают различные способы решения данного вопроса: от жестких штрафных санкций за интолерантные высказывания до навязывания политически корректных форм.

Решением данной проблемы должны заниматься не только журналисты, но и преподаватели вузов, формируя толерантное поведение у будущих журналистов в процессе их профессиональной подготовки и делая акцент на конструктивный подход к разрешению конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности. Именно тогда ««язык вражды» станет неприемлемым для уважающего себя профессионала»¹⁰.



Примечания

- ¹ См.: Федотов М.А. Правовые основы журналистики. М., 2002. С. 288.
- ² См.: Дзялошинский И.М. Кому выгодно тиражирование нетерпимости? // Язык мой... Проблема этнической и религиозной нетерпимости в российских СМИ / Сост. А.М. Верховский. М., 2002. С. 74.
- ³ Roberts P.C. President Bush, Will You Please Shut Up? // <http://www.guardian-psj.ru/world-security-article-31>
- ⁴ Фридман Ю. Русские и нерусские // Топос. 2004. 29 сент. // <http://www.topos.ru/article/2808>
- ⁵ См.: Енина Л. Речевая агрессия и речевая толерантность в средствах массовой информации // http://www.tolerance.ru/biblio/dzyalosh-1/multi/2_enina.html
- ⁶ Асламова Д. Афроамериканцы боятся, что Обаму убьют, как Кеннеди // Комсомольская правда. 2008. 30 окт. – 6 нояб. С. 4.
- ⁷ Bartiromo M. What about Russia – friend or foe? // Business Week. 2008. June 4. P. 57.
- ⁸ Новикова Т.В. Толерантность – неотъемлемое условие журналистской профессиональной деятельности // Акценты. 2007. № 4. С. 68.
- ⁹ Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. Киев, 1994. С. 99.
- ¹⁰ Новикова Т.В. Толерантность – неотъемлемое условие журналистской профессиональной деятельности // Акценты. 2007. № 4. С. 71.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЛОЛОГИЯ»: К ПРОБЛЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ¹

Е.Г. Елина, И.Ю. Иванюшина, Н.В. Панченко, В.В. Прозоров, А.А. Чувакин

Статья посвящена проблемам модернизации высшего профессионального образования, разработке моделей и форм проведения итоговой государственной аттестации по направлению «Филология» в бакалавриате и магистратуре. В основу аттестации положен компетентностный подход, предполагающий ориентацию на различные сферы профессиональной деятельности выпускников-филологов.

Ключевые слова: высшее образование, филология, итоговая государственная аттестация, бакалавриат, магистратура, компетенции.

State Final Assessment in the Field of Philology: on the Problem of Updating Higher Philological Education

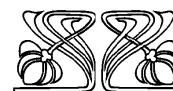
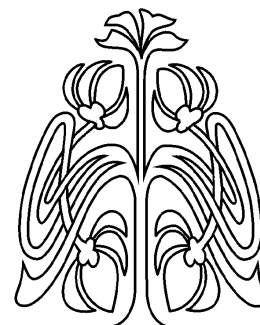
E.G. Elina, I.Yu. Ivanyushina, N.V. Panchenko, V.V. Prozorov, A.A. Chuvakin

The article is devoted to the problems of the updating of higher professional education and the development of the format of final state assessment in the field of philology for bachelor's and master's degrees. Professional competency is taken as the basic principle of the assessment of graduating students in philology.

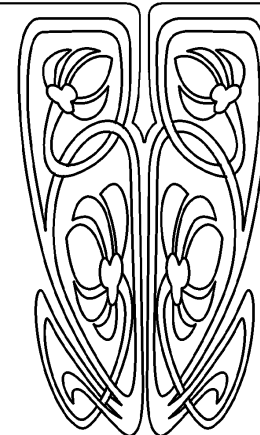
Key words: higher education, philology, final state assessment, bachelor's degree, master's degree, competency.

Обсуждение проблем модернизации высшего профессионального образования в начале XXI в. совпадает с существенными изменениями в филологии как области знания и сфере деятельности. На рубеже XX–XXI в. расширяется и качественно меняется сфера деятельности филолога как специалиста: он перестает быть «только» учителем, преподавателем, научным работником. Профессиональные возможности филолога сегодня практически безграничны², филолог работает сегодня во всех областях, где востребовано слово. Если учесть и основные направления модернизации высшего профессионального образования в нашей стране, сформулированные, например, в проектах государственных образовательных стандартов «третьего» поколения³, то станет ясным, что высшее филологическое образование, чтобы отвечать требованиям времени, в ближайшем будущем претерпит существенные изменения⁴.

Наша статья отражает поиск модели итоговой государственной аттестации (далее: ИГА) по направлению «Филология» для выпускников, обучающихся по профилю «Отечественная филология»⁵. Почему мы обратились именно к ИГА? Дело в том, что, будучи завершающим мероприятием образовательного процесса, ИГА обладает своего рода двунаправленностью: в прошлое – в сферу образования и в будущее – в сферу деятельности выпускника. ИГА предназначена для определения общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра и магистра филологии, позволяющих установить подготовленность выпускников к решению профессиональных задач, зафиксированных в федеральном государственном образовательном стандарте и способствующих устойчивости специалиста на рынке труда и про-



НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ





должению образования. В статье рассматриваются некоторые, на наш взгляд, базовые, вопросы ИГА раздельно в бакалавриате и магистратуре; факторы, обуславливающие содержание и форму проведения; возможности для установления оценки уровня овладения выпускниками профессиональными компетенциями. Мы обращаемся к таким характеристикам ИГА, которые, по нашему мнению, являются общезначимыми. Их наличие не отрицает высокой степени самостоятельности вуза (факультета), осуществляющего подготовку филологов, в решении вопросов планирования и проведения ИГА. Именно вуз утверждает тематику выпускных квалификационных работ, процедуру их подготовки и защиты; может принять решение о том, чтобы к магистерской диссертации прилагался автореферат, написанный на языке – объекте профессиональной деятельности – алтайском, башкирском, татарском, якутском и др.; разрабатывает на основе Госстандарта и других нормативных документов программу выпускных экзаменов в бакалавриате и утверждает ее.

Бакалавриат

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. Итоговые аттестационные испытания предназначены для установления общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра филологии, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и содержанию подготовки бакалавра может проводиться итоговый государственный экзамен по основному языку или литературе или междисциплинарный экзамен по направлению 031000 (520300) – Филология.

Схема государственного экзамена может иметь несколько вариантов:

- все студенты сдают междисциплинарный экзамен по основному языку и литературе;
- студенты, готовящие выпускную квалификационную работу по литературе, сдают экзамен по основному языку; студенты, готовящие выпускную квалификационную работу по основному языку, сдают экзамен по литературе;
- студенты, готовящие выпускную квалификационную работу по основному языку, сдают экзамен по основному языку; студенты, готовящие выпускную квалификационную работу по литературе, сдают экзамен по литературе.

Цель итогового государственного экзамена в бакалавриате – проверка теоретической и практической подготовленности выпускника к

осуществлению профессиональной деятельности и возможному продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится Государственной аттестационной комиссией в сроки, предусмотренные рабочими учебными планами по направлению. Экзамен может проводиться в устной или смешанной (устно-письменной) форме.

Поскольку областью профессиональной деятельности для филолога – бакалавра является исследовательская и практическая деятельность в сфере филологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной, деловой и межкультурной коммуникации, образования, культуры и управления, в процессе итогового экзамена проверяются как знания истории, теории и современного состояния основного языка, истории и теории литературы, основных источников и научной литературы по филологии, так и практические навыки, связанные с анализом разных видов текста. Экзамен, кроме того, проверяет коммуникативные навыки выпускника, его умение строить ответ, аргументированно и точно выражать свои мысли, а также владение навыками устного и письменного дискурса. В процессе экзамена проверяются такие профессиональные компетенции выпускника, как способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1); владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4).

Модель и форма проведения государственного экзамена определяется ученым советом структурного подразделения вуза, где проводится экзамен. Кроме традиционной формы экзамена – беседы по экзаменационным билетам, может быть рекомендована такая форма, при которой студент, помимо общего списка вопросов, готовит к экзамену спецвопрос, связанный с одним из видов будущей профессиональной деятельности. Так, студенту, выбравшему научную или научно-педагогическую деятельность, может быть предложен спецвопрос, связанный с анализом той или иной научной лингвистической или литературоведческой школы, представлением научной биографии крупного филолога, комментарием к известным академическим трудам в области филологии.

Студенту, тяготеющему к производственно-прикладной деятельности (преподавательская, переводческая, редакторская, экспертная и т.п.), может быть предложен соответствующий спецвопрос, связанный, например, с методикой преподавания той или иной темы в школьных курсах русского (основного) языка или литературы, с анализом оригинального текста и его перевода, с представлением трудов в области



перевода или редактирования, с подготовкой литературно-критического отзыва или лингвистической экспертизы. В качестве спецвопроса может быть предложен самостоятельный проект, выполненный студентом для реализации в различных гуманитарных сферах.

На государственный экзамен выносятся следующие типы вопросов:

- актуальные проблемы основного языка в области фонетики, лексикологии, грамматики, стилистики;
- актуальные проблемы теории и истории основного языка;
- базовые вопросы по теории текста и речевой коммуникации;
- актуальные проблемы истории литературы XVIII–XX вв. (отечественной или зарубежной), а также современного литературного процесса;
- история развития литературных жанров и направлений;
- литературная классика XIX–XX вв. в оценке литературной критики;
- основные понятия и термины лингвистики и литературоведения;
- актуальные проблемы истории и современного состояния языкознания / литературоведения.

Для проверки практических навыков используются материалы, представляющие собой фрагменты текста (художественного, публицистического, научного и т.п.), предназначенные для проведения различных видов лингвистического (фонетического, лексического, морфологического, синтаксического, стилистического и др.) и литературоведческого анализа.

На основе программы государственного экзамена составляются экзаменационные билеты. Билет содержит теоретические вопросы и практические задания. Вопросы экзаменационного билета должны принципиально отличаться от вопросов, предлагающихся на семестровых экзаменах. Они формулируются широко и включают в себя несколько научных аспектов. В качестве отдельных вопросов или частей вопросов могут быть предложены проблемы методики преподавания языка и литературы, методологии и методики научного исследования по филологии, методов решения прикладных задач в области теории и практики устной и письменной коммуникации, филологического обеспечения СМИ или PR.

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР), как правило, представляет собой итог работы студента в специальном семинаре. Выпускная квалификационная работа бакалавра определяет уровень профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной деятельности для филолога-бакалавра является исследовательская и практическая деятельность в сфере филологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной, деловой и межкультурной коммуникации, образования,

культуры и управления, в процессе подготовки ВКР студент может быть сориентирован на один из предложенных типов ВКР:

- самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и систематизацию научных источников по избранной теме, фактического языкового / литературного / текстового материала, аргументированные обобщения и выводы. В ВКР должно проявиться знание автором основных филологических методов исследования, умение их применять, владение научным стилем речи. Такого рода работа служит заявкой на продолжение научного исследования в магистратуре научного профиля;
- работа прикладного характера: в области методики преподавания основного языка и литературы, в области перевода текстов различных типов, в области издательской, комментаторской, экспертной, литературно-творческой деятельности; разработка проекта в одной из прикладных областей гуманитарно-филологического знания: проект музейной экспозиции, филологических основ PR-акции, филологического проекта в области СМИ, литературного праздника, конкурса, фестиваля, олимпиады по языку, мероприятий по пропаганде культуры русской речи и др.

Эти два типа ВКР актуализируют соответствующие компетенции выпускника. В самостоятельном научном исследовании проверяются следующие компетенции: способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-5); способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-6); владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-7); владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований (ПК-8).

Работа прикладного характера в большей степени проверяет сформированность у выпускника иных компетенций: владение базовыми навыками доработки и обработки (корректур, редактирование, комментирование, реферирование и т.п.) различных типов текстов (ПК-10); владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической,



гуманитарно-организационной, книгоиздательской, масс-медийной и коммуникативной сферах (ПК-13).

Более конкретно и полно набор компетенций обуславливается основной образовательной программой, разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса, в зависимости от заявленных в программе результатов обучения и видов профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр.

Объем ВКР – 30–50 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Работа любого типа должна содержать титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных источников и научной литературы, определением методик и материала, использованных в ВКР; основную часть (которая может члениться на параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и указание на дальнейшие перспективы работы, библиографический список. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ.

Самостоятельное научное исследование (Теоретический аттестационный проект) предполагает определение уровня сформированности у бакалавра филологии, избравшего литературоведческую направленность, следующего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. Бакалавр филологии (литературовед) должен: обнаруживать знание основных разделов истории отечественной литературы и литературной критики; уметь корректно оперировать основными теоретико-литературными терминами и понятиями, принятыми в современной филологической науке; владеть первичными навыками литературоведческого анализа художественного, публицистического, литературно-критического, научного текста; владеть основами библиографической грамотности; иметь вводные представления о литературоведческом источниковедении и литературоведческой текстологии; соотносить конкретные историко-литературные знания с соответствующими разделами истории культуры, истории искусств, истории журналистики, гражданской отечественной и мировой истории; уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию, отстаивать собственную точку зрения относительно избранного для ВКР предмета специального исследовательского рассмотрения.

Самостоятельное научное исследование (Теоретический аттестационный проект) предполагает определение уровня сформированности у бакалавра филологии, избравшего лингвистическую направленность, следующего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. Бакалавр филологии (языковед) должен: обнаруживать знание основных разделов науки о русском языке, речевой коммуникации и

тексте; уметь корректно оперировать основными теоретико-лингвистическими и коммуникатологическими терминами и понятиями; владеть основными навыками лингвистического и коммуникатологического анализа художественного и нехудожественного текста; иметь вводные представления о лингвистических источниках, разных сферах коммуникации и типах текста; соотносить конкретные лингвистические и коммуникатологические знания с соответствующими разделами истории культуры, гражданской отечественной и мировой истории, социологии, психологии и других гуманитарных наук; уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию, отстаивать собственную точку зрения относительно избранного для ВКР предмета специального исследовательского рассмотрения.

Самостоятельное научное исследование (Теоретический аттестационный проект) представляет собой самостоятельное научное и научно-реферативное исследование, посвященное определенной руководителем темы из области языкознания, теории и практики речевой коммуникации, теории текста, либо историко-литературной, литературно-критической и/или теоретико-литературной темы. В любом случае тема должна иметь известную традицию освоения и осмысления в современных гуманитарных науках. Например: «Рассказ А.П. Чехова «Студент»: опыт историко-литературного прочтения»; «Литературно-критическая работа В.Я. Лакшина в журнале А.Т. Твардовского «Новый мир»»; «Обрядовая лексика русских говоров региона: по материалам региональных словарей (по материалам толкового словаря конца XX века)»; «Стилистические пометы в толковом словаре как отражение оскорбительности лексем»; «Современный жаргон города NN».

Работа прикладного характера (Прикладной аттестационный проект) предполагает определение уровня сформированности у бакалавра филологии, избравшего литературоведческую направленность, следующего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. Бакалавр филологии (литературовед) должен: показать знание основных разделов истории отечественной литературы и литературной критики; уместно оперировать основными теоретико-литературными терминами и понятиями, принятыми в современной филологической науке; владеть первичными навыками литературоведческого анализа художественного, публицистического, литературно-критического, масс-медийного, научного текста; владеть основами библиографической грамотности; иметь представления о литературоведческом источниковедении и литературоведческой текстологии; соотносить конкретные литературно-прикладные знания и умения с соответствующими разделами культуры, искусства, журналистики, педагогики, издательского, музейного, библиотечного, дела; уметь последовательно отстаивать



собственную точку зрения по поводу избранного для работы прикладного характера предмета специального конкретно-практического представления.

Работа прикладного характера (Прикладной аттестационный проект) предполагает определение уровня сформированности у бакалавра филологии, избравшего лингвистическую направленность, следующего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. Бакалавр филологии (языковед) должен: показать знание основных разделов науки о языке, коммуникации и тексте; уместно оперировать основными теоретико-лингвистическими, коммуникатологическими терминами и понятиями, принятыми в современной филологической науке; владеть первичными навыками лингвистического и коммуникатологического анализа художественного и нехудожественного текста; владеть основами библиографической грамотности; иметь вводные представления о лингвистических источниках, разных сферах коммуникации и типах текста; соотносить конкретные лингвистические и коммуникатологические знания с соответствующими разделами истории культуры, гражданской отечественной и мировой истории, а также социологии, психологии и других гуманитарных наук; уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу избранного для работы прикладного характера предмета.

Работа прикладного характера выполняется, как правило, в спецсеминаре, посвященном одному из разделов языкознания или литературоведения, а также смежным отраслям гуманитарного знания – семиотики, герменевтики, социальной теории коммуникации, управления, риторики, искусствознания, педагогики, музееведения, краеведения, библиотековедения, издательского дела, журналистики, связей с общественностью, филологического обеспечения социального культурного сервиса и туризма, философии, психологии, социологии, культурологи.

Примерная тематика работ прикладного характера: «Комедия А.С. Грибоедова “Горе от ума” в читательском восприятии современных старшеклассников»; «Сказки А.С. Пушкина: опыт изучения современного библиотечного спроса (на материале работы городской детской библиотеки)»; «Крылатые слова и выражения из романа в стихах А.С. Пушкина “Евгений Онегин” в современных журналистских текстах»; «Комедия Н.В. Гоголя “Ревизор” в современной театральной интерпретации»; «Повесть Н.В. Гоголя “Вий” в школьной постановке»; «Рассказ А.П. Чехова “Студент”»: опыт медленного и выразительного чтения»; «Телекритика на страницах газеты “Известия” (текущие годы)»; «Сценарий городского литературного праздника»; «Опыт литературно-критического и искусствоведческого анализа произведения современной прозы, поэзии, драматургии, телевидения,

театра, кинематографа»; «Обрядовая лексика русских говоров региона: лингвокультурологический аспект»; «Стилистические пометы в толковом словаре и возможности их использования в лингвистической экспертизе»; «Современный жаргон города NN как показатель развития городской культуры»; «Употребление личных местоимений в жанрах медиа-коммуникации»; «Развитие аналитических тенденций в современной русской речи как проблема изменения речевой культуры»; «Анонсирование кинофильма в телевизионной программе»; «Дезинтеграция в синтаксисе современной русской прозы как проблема редакторской правки»; «Культура речи и тип речевой культуры (по материалам федерального и регионального политиков)».

Магистратура

Цель ИГА в магистратуре видится в итоговой оценке уровня сформированности у выпускников компетенций, дополнительных к компетенциям бакалавра филологии, в соответствии с профилем подготовки, в том числе: универсальных – углубленных научных и системных; и общепрофессиональных – углубленных концептуальных (теоретических), углубленных практических; углубленных профильных компетенций по видам деятельности – научно-исследовательской, производственно-прикладной, проектной, организационно-управленческой.

ИГА в магистратуре целесообразно проводить в виде защиты магистерской диссертации (далее: МД). В чем специфика МД по филологии? Думается, она представляет собой целостное концептуальное научное исследование, содержащее всесторонний критический анализ научных источников по теме исследования и самостоятельное решение актуальной научной проблемы, опирающееся на совокупность методологических представлений и методических навыков в области избранной профессиональной деятельности. В отличие от выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению «Филология» МД – это концептуальное научное исследование, предполагающее самостоятельное решение научной проблемы. В отличие от диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, являющейся, как это вытекает из требований существующих нормативных документов ВАК Минобрнауки России, научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для филологической отрасли знаний, МД – это род выпускной квалификационной работы, в которой решается актуальная для филологии задача, более частная, чем в кандидатской диссертации.

Содержание МД определяется рядом факторов, выступающих проекцией тех изменений в



филологической науке и практике и соответствующих главным направлениям модернизации высшего профессионального образования в целом, о которых говорилось в начале статьи.

Назовем основные из этих факторов.

Прежде всего, это область и объекты профессиональной деятельности выпускников.

Это означает, что МД может быть теоретической («Нравственно-философские искания в военной прозе К.Н. Батюшкова») и прикладной («Литературные пристрастия современного школьного учителя»); может находиться в содержательном поле одного из объектов профессиональной деятельности: языка, художественной литературы, устного народного творчества, различных типов текстов – как письменных, так и устных и виртуальных, устной и письменной коммуникации («Топонимия одного села»); «Литературные группы и объединения в современном региональном литературном процессе»; «Классический текст в современной газете») или на пересечении содержательных полей разных объектов профессиональной деятельности, например, языка и художественной литературы, языка и коммуникации, устного народного творчества и коммуникации, художественной литературы и текста, текста и коммуникации и др. («Национальная специфика юмора: иностранцы в русских анекдотах»; «Тексты политического плаката: лингвориторическое исследование»).

Важно подчеркнуть значимость МД на стыке областей профессиональной деятельности выпускников, например, филологии и философии, филологии и социологии, филологии и психологии, филологии и биологии, филологии и журналистики и др. («Функция социального управления в текстах массовой культуры»; «Символика автомобиля в культуре и литературе XX в.»; «Рекламный дискурс в зеркале принципов рекламного творчества»), роль МД междисциплинарного содержания («Фольклорные мотивы в творчестве В.М. Шукшина»; «Рекламный текст в составе романов В. Пелевина «Generation “P”»: риторический аспект»; «Аргументирование как способ моделирования художественного мира произведения»).

Следующий фактор: виды профессиональной деятельности выпускников. Влиятельность этого фактора определяется расширением числа «профессий» филолога. Теперь они находятся в области научно-исследовательской, производственно-прикладной, проектной, организационно-управленческой деятельности. Приведем примеры тем МД (по русскому языку и русской литературе) в их проекции на виды профессиональной деятельности: «Концепт “хаос” как компонент русской языковой картины мира»; «Мотив самозванства в драматургии А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя» – *научно-исследовательский вид*; «Способы передачи интертекстуальных элементов при переводе текстов Дж. Джойса на другие языки»; «Лирика С.А. Есенина в школьном

изучении» – *производственно-прикладной*; «Развитие коммуникативной компетенции учащихся старших классов: программа учебной дисциплины “Речевая коммуникация”»; «Сценарий городского пушкинского фестиваля» – *проектный*; «Управление деловыми переговорами как коммуникативная проблема» – *организационно-управленческий*.

Укажем еще один фактор: содержание специализированной программы подготовки магистра. Так, МД, выполняемые в рамках специализированной программы «Речевая коммуникация как объект филологии», могут быть посвящены следующей проблематике: филологические основы теории коммуникации; основные концепты теории и практики речевой коммуникации (говорящий, слушающий, сообщение, языковой и неязыковой код, коммуникативная ситуация, дискурс и др.); коммуникация как процесс и ее структура; модели коммуникации; функции коммуникации; уровни коммуникации, в том числе интернет-коммуникация; сферы коммуникации; современные концепции и история коммуникатологии (как теоретической дисциплины) и коммуникативистики (как прикладной дисциплины); теория коммуникации и другие науки (риторика, когнитивистика, теория аргументации, психология и др.); современные проблемы коммуникативно-речевой практики; эффективность речевой коммуникации и методика оптимизации коммуникативной деятельности; методика преподавания коммуникатологических и коммуникативистских дисциплин; компьютерные технологии в речевой коммуникации и ее исследовании и др.

Подготовка МД и процедура ее защиты проверяет степень владения выпускником всем набором компетенций, установленным Госстандартом по направлению «Филология» для выпускников магистратуры. Если общекультурными компетенциями должен владеть каждый магистрант, то профессиональные компетенции в рассматриваемом отношении неоднородны компетенции, владеть которыми должен каждый выпускник магистратуры. Например: демонстрация знаний современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования (ПК-1); демонстрация углубленных знаний в избранной конкретной области филологии (ПК-2); владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач (ПК-3);

Другая группа компетенций оказывается востребованной при подготовке МД, ориентированной на производственно-прикладную сферу деятельности бакалавра: владение навыками проведения учебных занятий в учреждениях общего, среднего специального и высшего образования, подготовки учебно-методических материалов



по отдельным филологическим дисциплинам (ПК-8); способность к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию всех типов деловой документации; публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п. (ПК-9); владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-10).

И, наконец, третья группа компетенций актуальна в работе, представляющей собой некий филологический проект: умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и социокультурных ситуаций (ПК-11); знание теории и владение практически навыками проектирования, конструирования, моделирования структуры и содержания образовательного процесса в области филологии (ПК-12); способность и готовность к участию в разработке научных, социальных, педагогических, творческих, рекламных, издательских и т.п. проектов (ПК-13).

Современная модель итоговой государственной аттестации, безусловно, учитывает опыт ИГА, сложившийся в вузах России при подготовке филологов-специалистов. Вместе с тем мы не можем оставить привычную форму аттестации и использовать ее в новых условиях бакалавриата и магистратуры. Задачи современного высшего образования в связи с радикальным реформированием российской высшей школы связаны с усилением практической составляющей образования, его универсализацией и вариативностью.

Очевидно, что в новых условиях центром образовательного процесса становится студент. Схема представляется следующей: работодатель диктует студенту, какими компетенциями он должен обладать на выходе из вуза, студент выбирает преподавателя, дисциплину, кафедру, которые наилучшим образом эти компетенции ему обеспечат. Итоговая государственная аттестация связывает воедино всех без исключения участников образовательного процесса.

Примечания

- ¹ В статье представлены результаты исследования коллектива в составе Е.Г. Елиной, И.Ю. Иванюшиной, Н.В. Панченко, В.В. Прозорова, А.А. Чувакина, учтен опыт Алтайского, Саратовского государственных университетов и других вузов России.
- ² См.: *Ковтун Е.Н., Родионова С.Е.* Зачем быть филологом сегодня? Тверь, 2006; *Чувакин А.А.* Homo Loquens как исходная реальность и объект филологии: к постановке проблемы // Филология и человек. 2006. № 1; *Прозоров В.В., Елина Е.Г.* Филология и журналистика: степень родства // Изв. Саратов. ун-та. Новая сер. 2007. Т. 7. Сер. Филология. Журналистика. Вып. 1. С. 51–56; *Чувакин А.А.* Заметки об объекте современной филологии // Человек – Коммуникация – Текст. Барнаул, 1999. Вып. 3; *Чувакин А.А.* Курс основ филологии: к проблеме модернизации высшего филологического образования // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2006. № 2; *Чувакин А.А.* Язык как объект современной филологии // Вестн. Бурят. ун-та. Сер. 6. Филология. Улан-Удэ, 2007. Вып. 11.
- ³ Проектирование государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения. М., 2005.
- ⁴ См. об этом: *Елина Е.Г.* Инновации в условиях новой образовательной парадигмы // Инновационные методы и технологии в условиях новой образовательной парадигмы. Саратов, 2008. С. 13–17; Инновационные подходы к проектированию Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной основной образовательной программы по направлению высшего профессионального образования «Филология». М., 2007.
- ⁵ Наши рассуждения сориентированы на проекты Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 031000 (520300) – Филология и проекты примерных основных образовательных программ бакалавра и магистра, представленные на сайте: <http://www.philol.msu.ru/~umo/>.
- ⁶ Здесь и далее в скобках приводятся примерные темы МД.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУ

Белова Н.М. Пушкин и его великие предшественники / Отв. ред. Л.Г. Горбунова, В.В. Биткинова. — Саратов: Научная книга, 2008. — 128 с. — ISBN 978-5-9758-0887-5

В монографии предлагается новый взгляд на проблему «Пушкин и его литературные предшественники». Ставится задача не просто рассмотреть произведения предшественников с точки зрения их значения для формирования и развития творчества гениального поэта, но и показать, как в творчестве Пушкина обогащаются традиции его литературных учителей (К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, Дж. Байрона, Г.Р. Державина, В. Скотта), раскрываются нереализованные или недостаточно реализованные идейно-художественные возможности. Обретя совершенное художественное оформление в творчестве Пушкина, они, в свою очередь, получают дальнейшее развитие в произведениях Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, становятся предметом рефлексии различных направлений критики XIX — начала XX в.

Для студентов-филологов, преподавателей гуманитарных вузов, лицеев и всех, интересующихся историей русской литературы и её связи с литературой других стран.

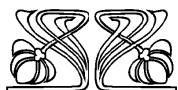
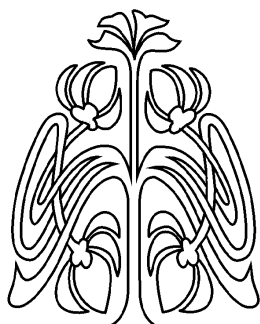
В.В. Биткинова

Карасик В.И. Языковые ключи. — Волгоград: Парадигма, 2007. — 520 с. — ISBN 978-5-903601-03-5

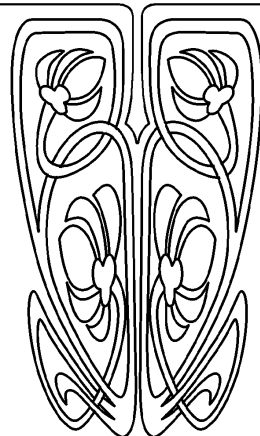
Книга В.И. Карасика затрагивает ряд актуальных вопросов лингвокультурологии, когнитивной лингвистики и теории дискурса. Исследование носит в значительной мере обобщающий, интегративный характер как в решении ряда теоретических проблем (в частности, проблемы типологии концептов), так и в плане методологии лингвокультурологического анализа. Такой подход свидетельствует, по-видимому, о новом этапе в развитии лингвокультурологии, отличающемся переходом от накопления информации к формированию новых концепций, стремлением к интеграции уже существующих теоретических разработок в рамках новой теории. Богатое и разностороннее содержание книги В.И. Карасика не может быть с достаточной полнотой охарактеризовано в рамках одной рецензии, и мы не ставим перед собой такой задачи. В данной рецензии мы обратим внимание лишь на те аспекты обсуждаемых автором научных проблем, которые кажутся нам наиболее интересными.

1. Одна из актуальных теоретических проблем, обсуждаемых в книге, — это проблема типологизации концептов, неизбежно связанная и с вопросом о сущности концепта. Как и в предшествующих своих работах, автор исходит из понимания концепта как многомерного ментального образования, включающего образно-перцептивную, понятийную и ценностную стороны (с. 27).

Как справедливо отмечает автор, построение исчерпывающей и непротиворечивой классификации концептов, понимаемых как переживаемые типизируемые фрагменты опыта, является невыполнимой задачей. Действительно, основываясь на содержательном критерии при построении такой классификации, исследователь неизбежно будет сталкиваться с нелогичностью и противоречивостью обиходного сознания, с размытостью смыслов и неодинаковой степенью детализации в языковом отражении разных сторон бытия (с. 27). Автор указывает и другой существенный фактор, препятствующий созданию строгой классификации на основе содержания фиксируемых



**КРИТИКА
и
БИБЛИОГРАФИЯ**





концептами фрагментов опыта, – принципиально динамический характер концептов (с. 27).

Предлагаемая В.И. Карасиком типология концептов отчасти также строится по содержательному принципу. Все концепты противопоставляются как параметрические, выступающие в качестве классифицирующих категорий (время, пространство, качество и др.), и непараметрические, имеющие предметное содержание. Вместе с тем в дальнейшем наполнении этих двух больших классов концептов учитываются другие типологические критерии: «В дополнение к существующим классификациям концептов, построенным на основании психологических и лингвистических критериев, предлагается логический, аксиологический, социологический и диалектологический (трансляционный) признаки для классификации концептов» (с. 221). Признавая взаимодополняющий характер существующих типологий концептов (учитывающих когнитивно-психологическую или дискурсивную природу концептов, их динамику или индивидуальное/групповое/национальное варьирование, тематику и проч.), автор демонстрирует возможность интеграции различных типологий, включения их в некую объединяющую различные критерии и параметры систему. Так, среди непараметрических концептов выделяются регулятивные и нерегулятивные. В этом делении принимается во внимание содержательная структура соответствующих ментальных образований: регулятивные концепты, такие, как «счастье», «долг», «пошлость» и др., отличаются тем, что в их структуре главное место занимает ценностный компонент (включающий ценности и нормы поведения); примеры нерегулятивных концептов – «путешествие», «подарок», «здоровье». Именно регулятивные концепты наиболее национально-специфичны по своей природе, так как они «в концентрированном виде содержат оценочный кодекс той или иной лингвокультуры» (с. 35).

Типологическое деление концептов в зависимости от круга их «носителей» исследователь связывает прежде всего с классом регулятивных концептов, выделяя универсальные (например, «добро», «красота»), этноспецифические («душа», «судьба», «тоска»), социоспецифические («интеллигентность», «dignity») и индивидуальные (обнаруживаются, главным образом, в философских и художественных текстах) концепты-регулятивы (с. 36).

В.И. Карасик предлагает еще один критерий типологизации концептов, а именно критерий транслируемости, т.е. возможности передачи концепта от одного человека к другому и от одной культуры к другой в процессе общения. Наиболее активно транслируются «архетипические» концепты, отражающие систему априорных, неосознаваемых поведенческих и ценностных установок; их «априорность», по-видимому, и определяет высокую степень их транслируемости (с. 37). Такие концепты обычно закрыты для модификации и не допускают критического восприя-

тия. Как показывает автор, архетипическими концептами предстают, например, концепты «сделка с дьяволом» и «вражеский заговор», бытующие как аксиоматические в обыденном сознании, активно транслируемые на протяжении веков в различные сферы общения и различные формы искусства, что демонстрируют многочисленные литературные и кинопроизведения, актуализирующие эту тему (с. 163–178).

По остаточному принципу в предложенной в книге типологии выделяются нерегулятивные концепты, включающие различные предметные и абстрактные концепты, не являющиеся регулятивами. Именно с нерегулятивными концептами автор связывает и одну из наиболее популярных типологий, основанную на когнитивно-психологическом критерии и включающую такие типы концептов, как картинки, схемы, сценарии и др.

Дополняя указанную типологию, В.И. Карасик, наряду с указанными разновидностями концептов, выделяет «лингвокультурный типаж», определяемый как «обобщенный образ представителя некой социальной группы в рамках конкретной культуры, узнаваемый по специфическим характеристикам вербального и невербального поведения и выводимой ценностной ориентации» (с. 37). В книге подробно рассматриваются лингвокультурные типы «русский интеллигент», «русский купец», «русский чиновник», «американский супермен», «английский чудак».

Выделение «лингвокультурного типажа» органично продолжает концепцию автора книги, определяющего концепты как многомерные ментальные образования, включающие понятийный, образный и ценностный компоненты. Эти составляющие присущи и лингвокультурным типажам, содержащим представления о некоем типичном поведении (понятийный компонент), типичном внешнем облике (например, типичный интеллигент – мужчина средних лет в очках, официальном костюме с галстуком) и оценке данного типа поведения.

В ценностной составляющей лингвокультурного типажа фокусируются установки соответствующей лингвокультуры, т.е. оценка того или иного типа поведения зависит от его соответствия ценностным приоритетам данного социума. Так, говоря о различии в восприятии чудаков в русской и английской лингвокультурах, автор отмечает: «Высокая степень состязательности в обществе требует признать право каждого на свою линию поведения, поэтому к чудакам англичане относятся положительно. Низкая степень состязательности ограничивает право индивидуума отличаться от других, поэтому и отношение к чудакам в русской культуре весьма критично» (с. 323).

Воплощая в себе важнейшие для определенной лингвокультуры положительные качества, типаж может становиться модельной личностью, как это происходит с «американским суперменом». Интересно, что в результате процессов глобализации супермен становится модельной



личностью и для других лингвокультур, в той или иной степени заимствующих американские ценности.

Выделение такой разновидности концептов, как «лингвокультурный типаж», на наш взгляд, отвечает на вопрос о том, в каких случаях представление о людях (характеризуемых по своим личностным качествам, социальному статусу и проч.) может становиться лингвокультурным концептом.

Показателем лингвокультурной значимости того или иного типажа можно, по-видимому, считать и устойчивость его понятийного (по крайней мере отчасти) и ценностного компонентов. Так, в случае с типажом «русский купец», несмотря на деактуализацию образного компонента, отошедшего в область истории, понятийная и ценностная составляющие (типизация определенного поведения и его оценка носителями культуры) продолжают быть релевантными для русской лингвокультуры, наследуясь в значительной степени современным типажом «бизнесмен».

2. Значимым с точки зрения теории концептов и принципов их типологизации представляется подход автора книги к концепту как к принципиально динамическому образованию. Изменения в концептуальном содержании рассматриваются автором в двух аспектах: соотношение между индивидуальным и коллективным пониманием и между исходным и развивающимся содержанием (с. 178). Варьирование концептуального содержания в диапазоне между индивидуальным и коллективным пониманием интерпретируется автором через противопоставление, с одной стороны, коллективного содержательного минимума, обычно присутствующее в обиходном общении, и, с другой стороны, двух типов индивидуального наполнения концепта – синкретического и дифференцированного. «Синкретическая концептуализация, – пишет В.И. Карасик, – свойственна ребенку, когда тот или иной фрагмент действительности характеризуется максимальной широтой и гибкостью ассоциаций, дифференцированная концептуализация свойственна представителю интеллектуальной элиты, обладающему способностью и умением артикулированно выражать понимание множества оттенков смысла» (с. 179).

Эволюция и инволюция концепта (т.е. смысловое расширение или сжатие) связывается с изменениями в общественном сознании – со степенью важности концептуализируемой области для языкового коллектива. Эволюция и инволюция свойственны как конкретным, так и абстрактным концептам. Так, в современном обществе происходит активная «экспансия» концептов, связанных с функционированием компьютеров и виртуальной сетью. Примером может служить метафорический перенос процедуры перезагрузки компьютера на различные другие ситуации, в том числе такие, в

которых (в реальной действительности) невозможно возвращение на исходные позиции. Инволюция абстрактных концептов происходит в том, случае, когда они оказываются известными лишь узкому кругу специалистов или же их содержание в массовом сознании становится слишком неопределенным и расплывчатым. По мнению автора, к таким концептам в современной американской лингвокультуре относится концепт «демократия», превратившийся в «недифференцированное оценочное образование, содержанием которого является положительная оценка американского образа жизни (демократия – это свобода, равные права, защита граждан государством и т.д.)» (с. 183). Одним из уходящих концептов в русской лингвокультуре признается, например, концепт «кротость»; по отношению к данному типу поведения современные носители языка чаще используют слово «забитый» (с. 187). Эволюция концептов может происходить в форме замещения одного – уходящего – концепта другим, в большей степени соответствующим актуальной для данной лингвокультуры системе ценностей.

Интересно, что изменение части понятийного компонента в составе концепта сопровождается сменой имени концепта, так же как и изменение ценностного компонента в приведенном выше примере с концептом «кротость». Это можно считать косвенным аргументом в пользу точки зрения так называемых «вербалистов» – исследователей, утверждающих обязательность языкового выражения для существования концепта.

Важной, на наш взгляд, представляется мысль о связи между типологическими характеристиками концепта и его трансформационным потенциалом и спецификой динамики его содержания. Так, на с. 222 автор пишет: «Лингвокультурные концепты подвержены эволюции и инволюции, при этом предметные, абстрактные и регулятивные концепты трансформируются в соответствии со свойственным каждой группе типом изменения понятийного, образного и оценочного компонентов».

3. Интегративный характер носит и методика описания концептуального содержания, последовательно используемая автором при анализе различных концептов.

В соответствии с наиболее признанным в современной концептологии комплексным подходом для описания содержания концепта в рецензируемой книге применяются различные виды источников и исследовательских процедур. Это и семантический анализ значений слов, воплощающих концепты, и анализ контекстов, включающих такие слова, и этимологический анализ, и анализ ассоциативных реакций и сочинений информантов, и традиционный анализ устойчивых высказываний, выражающих определенные концепты (поговорки, афоризмы, цитаты). Однако наибольший интерес представляет, на наш взгляд, резюмирующая часть описания, которая



объединяет, интегрирует разнообразную информацию, полученную при анализе различных источников, и позволяет автору сформулировать ценностно-ориентированную характеристику концепта, указывающую не просто набор признаков, но роль и место данного концепта в изучаемой лингвокультуре. К сожалению, интегрирующее итоговое описание не всегда присутствует в концептологических исследованиях, результатом которых может становиться перечисление концептуальных признаков без их обобщающей интерпретации; в иных случаях такое описание слишком размыто, недостаточно эксплицировано. Вместе с тем целостное компактное описание концепта кажется очень важным в связи с культурологической направленностью концептуальных исследований; сама возможность подобного описания свидетельствует о наличии целостного базового представления (ментального образования), составляющего культурно значимую единицу («сгусток культуры») в сознании человека.

4. Большой интерес с точки зрения методологии и определения перспектив лингвоконцептологических исследований вызывает выполненный в книге обзор существующих «концептуариев культуры» – словарей, описывающих концепты, составляющие специфику определенной лингвокультуры, а также обзор ряда исследований, в которых моделирование концепта осуществляется путем выделения трех основных компонентов в составе концепта (понятийного, образно-перцептивного и ценностного) и сопоставления общих и специфических признаков концептов в разных лингвокультурах (с. 188–219).

Обобщая опыт лингвоконцептологических исследований, выполненных в разных городах нашей страны, автор формулирует следующие основные тенденции развития лингвистической концептологии: «рассматриваются концепты не только в коллективном, но и в индивидуальном языковом сознании; исследуются группы концептов – диады и тематические поля; описывается динамика развития концептов в диахроническом аспекте; анализируются концепты, ограниченные рамками определенного дискурса; выявляется специфика содержания концептов в сознании представителей определенных социальных групп общества...» (с. 220). Этот перечень показывает основные направления варьирования концептуального содержания и свидетельствует о том, что в целом в современной лингвистике концепт понимается как принципиально вариативное образование.

Книга В.И. Карасика – важный и необходимый этап в развитии лингвоконцептологии, лингвокультурологии и теории дискурса, труд, в котором предложено ценное теоретическое и методологическое осмысление многообразного материала, накопленного этими относительно новыми интенсивно развивающимися отраслями лингвистики. Нет сомнений, что «Языковые ключи» помогут

лингвистам в поисках новых ключей, открывающих путь к решению проблем взаимодействия языка, сознания, культуры.

Н.В. Крючкова

Проблемы канадоведения в российских исследованиях: сборник научных трудов / Отв. ред. В.Т. Клоков. – Саратов: Изд. центр «Наука», 2008. Вып. 2. – 202 с. – ISBN 978-5-91272-519-7

В начале 2008 г. в Саратове и Нижнем Новгороде состоялись научно-практические семинары по проблемам экономики, внешней и внутренней политики, лингвистики, литературоведения и журналистики.

Цель семинаров заключалась в том, чтобы представить российское видение Канады и основные направления научных интересов отечественных специалистов в области канадоведения, а также рассмотреть возможности междисциплинарных проектов и исследований. К участию в семинарах приглашались российские специалисты, изучающие разные аспекты истории и современной жизни Канады: историки, политологи, экономисты, культурологи, социологи, литературоведы, лингвисты, специалисты по международному праву и массовой коммуникации.

Саратовский семинар «Квебек в системе Канадской Федерации» состоялся 31 января – 2 февраля 2008 г. в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского; нижегородский семинар «Узнавая Канаду: канадская история, политика, экономика и культура в российских исследованиях» был проведен 2–3 апреля 2008 г. в Нижегородском коммерческом институте.

В обоих семинарах участники признавались, что им удалось расширить свои знания, выйти за границы узкой специализации и лучше понять проблемы Канады. По их мнению, дискуссии были полезными, а организация междисциплинарных научных встреч, объединяющая специалистов из разных областей знания, обогатила всех. Семинары были организованы профессорами и преподавателями принимавших вузов, а также Российским обществом изучения Канады при участии Института США и Канады Российской академии наук и Посольства Канады в РФ.

Организаторы сочли возможным объединить материалы двух поволжских семинаров в единый сборник и издать его в Саратове, тем более что тематически обе научно-практические встречи удачно дополняют друг друга. Тем не менее саратовский семинар более ориентировался на обсуждение вопросов взаимодействия языков и культур, а нижегородский – на представление проблем экономики, внешней и внутренней политики Канады.

В.Т. Клоков



объединяет, интегрирует разнообразную информацию, полученную при анализе различных источников, и позволяет автору сформулировать ценностно-ориентированную характеристику концепта, указывающую не просто набор признаков, но роль и место данного концепта в изучаемой лингвокультуре. К сожалению, интегрирующее итоговое описание не всегда присутствует в концептологических исследованиях, результатом которых может становиться перечисление концептуальных признаков без их обобщающей интерпретации; в иных случаях такое описание слишком размыто, недостаточно эксплицировано. Вместе с тем целостное компактное описание концепта кажется очень важным в связи с культурологической направленностью концептуальных исследований; сама возможность подобного описания свидетельствует о наличии целостного базового представления (ментального образования), составляющего культурно значимую единицу («сгусток культуры») в сознании человека.

4. Большой интерес с точки зрения методологии и определения перспектив лингвоконцептологических исследований вызывает выполненный в книге обзор существующих «концептуариев культуры» – словарей, описывающих концепты, составляющие специфику определенной лингвокультуры, а также обзор ряда исследований, в которых моделирование концепта осуществляется путем выделения трех основных компонентов в составе концепта (понятийного, образно-перцептивного и ценностного) и сопоставления общих и специфических признаков концептов в разных лингвокультурах (с. 188–219).

Обобщая опыт лингвоконцептологических исследований, выполненных в разных городах нашей страны, автор формулирует следующие основные тенденции развития лингвистической концептологии: «рассматриваются концепты не только в коллективном, но и в индивидуальном языковом сознании; исследуются группы концептов – диады и тематические поля; описывается динамика развития концептов в диахроническом аспекте; анализируются концепты, ограниченные рамками определенного дискурса; выявляется специфика содержания концептов в сознании представителей определенных социальных групп общества...» (с. 220). Этот перечень показывает основные направления варьирования концептуального содержания и свидетельствует о том, что в целом в современной лингвистике концепт понимается как принципиально вариативное образование.

Книга В.И. Карасика – важный и необходимый этап в развитии лингвоконцептологии, лингвокультурологии и теории дискурса, труд, в котором предложено ценное теоретическое и методологическое осмысление многообразного материала, накопленного этими относительно новыми интенсивно развивающимися отраслями лингвистики. Нет сомнений, что «Языковые ключи» помогут

лингвистам в поисках новых ключей, открывающих путь к решению проблем взаимодействия языка, сознания, культуры.

Н.В. Крючкова

Проблемы канадоведения в российских исследованиях: сборник научных трудов / Отв. ред. В.Т. Клоков. – Саратов: Изд. центр «Наука», 2008. Вып. 2. – 202 с. – ISBN 978-5-91272-519-7

В начале 2008 г. в Саратове и Нижнем Новгороде состоялись научно-практические семинары по проблемам экономики, внешней и внутренней политики, лингвистики, литературоведения и журналистики.

Цель семинаров заключалась в том, чтобы представить российское видение Канады и основные направления научных интересов отечественных специалистов в области канадоведения, а также рассмотреть возможности междисциплинарных проектов и исследований. К участию в семинарах приглашались российские специалисты, изучающие разные аспекты истории и современной жизни Канады: историки, политологи, экономисты, культурологи, социологи, литературоведы, лингвисты, специалисты по международному праву и массовой коммуникации.

Саратовский семинар «Квебек в системе Канадской Федерации» состоялся 31 января – 2 февраля 2008 г. в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского; нижегородский семинар «Узнавая Канаду: канадская история, политика, экономика и культура в российских исследованиях» был проведен 2–3 апреля 2008 г. в Нижегородском коммерческом институте.

В обоих семинарах участники признавались, что им удалось расширить свои знания, выйти за границы узкой специализации и лучше понять проблемы Канады. По их мнению, дискуссии были полезными, а организация междисциплинарных научных встреч, объединяющая специалистов из разных областей знания, обогатила всех. Семинары были организованы профессорами и преподавателями принимавших вузов, а также Российским обществом изучения Канады при участии Института США и Канады Российской академии наук и Посольства Канады в РФ.

Организаторы сочли возможным объединить материалы двух поволжских семинаров в единый сборник и издать его в Саратове, тем более что тематически обе научно-практические встречи удачно дополняют друг друга. Тем не менее саратовский семинар более ориентировался на обсуждение вопросов взаимодействия языков и культур, а нижегородский – на представление проблем экономики, внешней и внутренней политики Канады.

В.Т. Клоков



Литературно-художественный авангард в социокультурном пространстве российской провинции: история и современность: сборник статей участников международной научной конференции (Саратов 9–11 октября 2008 г.) / Отв. ред. И.Ю. Иванюшина. – Саратов: Изд. центр «Наука», 2008. – 478 с. – 978-5-91272-673-6

9–11 октября 2008 г. в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского состоялась международная научная конференция «Литературно-художественный авангард в социокультурном пространстве российской провинции: история и современность». К началу конференции был издан сборник статей участников конференции, посвященный многоаспектному осмыслению общих закономерностей авангардного творчества и их специфических проявлений в культурной жизни провинции. В качестве главных задач кураторы проекта видели разработку методологической базы изучения литературно-художественного авангарда как стилистического единства, теоретическое обоснование возможности комплексного исследования авангарда как социокультурного феномена. Эти проблемы определили структуру представляемого издания.

Сборник состоит из шести разделов: «Литературно-художественный авангард 1910–1920 гг. в культурном поле эпохи», «Авангардные стратегии в журналистике», «Язык авангарда: код и интерпретация», «Провинциальный текст российского авангарда», «Эхо авангардного взрыва», «Авангардный проект», – включающих 45 статей участников конференции.

Статьи первого раздела носят историко-литературный характер. В них рассматриваются вопросы самоопределения русского футуризма, его взаимодействия с другими литературными направлениями (авторы Л.Л. Шестакова, В.И. Хазан, О.А. Лекманов, М.И. Свердлов), преемственности связей между футуристической и обэриутской поэзией (И.Ю. Иванюшина), поэтики авангардного творчества (А.А. Кобринский, С.В. Кекова, Е.Г. Трубецкова, Н.Г. Юрасова,

Л.Ю. Большухин). Статьи Ю.Я. Герчука и Т.И. Дроновой затрагивают различные аспекты взаимодействия литературного и художественного авангарда.

Универсальные механизмы интерпретации авангардных произведений, принадлежащих различным кодовым системам, описаны в исследованиях Л.П. Прокофьевой, Е.А. Елиной, С.Я. Вартанова, И.А. Тарасовой, представленные в разделе «Язык авангарда: код и интерпретация». Рефлексия и саморефлексия над языком авангардного творчества явилась предметом изучения в работах В.В. Фещенко, А.П. Романенко, Т.В. Казариной, Л.В. Червяковой, Ю.Р. Попоновой.

Отдельный раздел сборника посвящен авангардным стратегиям в отечественной (статья Е.Г. Елиной) и западной (статья И.В. Кабановой) журналистике.

Следующий раздел сборника сформировали статьи, осмысляющие роль литературно-художественного авангарда в культурной жизни саратовской провинции в диахронном и синхронном аспекте (статьи А.В. Зюзина, Е.И. Водноса, Е.К. Савельевой, О.В. Шиндиной, А.В. Раевой, О.А. Фандеева, А.Ю. Кашанина, Е.А. Дорогиной, А.И. Демченко, А.Н. Зорина). Следы «авангардного взрыва» в культурном поле российской провинции обнаруживают в своих исследованиях И.Е. Лощилов, С.Е. Бирюков, Е.В. Борода. Провинциальным истокам творчества О. Розановой посвящена публикация В.Н. Терехиной.

«Эхо авангардного взрыва» в поэтических системах современности стало предметом анализа в статьях А. Маймескуловой, Е.А. Ивановой, Е.В. Степанова, Н.М. Азаровой.

Завершает сборник раздел «Авангардный проект», в котором представлены авангардные практики в музейном деле и архитектуре.

Носящее междисциплинарный характер издание будет интересно литературоведам, лингвистам, искусствоведам, культурологам, всем интересующимся проблемами авангардного творчества и его влиянием на современную культуру.

И.А. Тарасова



ресов Г.Г. Полищук – экспериментальном исследовании русской интонации в руководимой ею лаборатории экспериментальной фонетики. Были названы основные методы экспериментальных исследований, позволившие определить особенности интонации русской разговорной речи и ее стилизации в художественной речи.

На утреннее пленарное заседание 24 сентября были вынесены доклады, поднимающие важные проблемы, связанные с современным состоянием русской речи. В докладе **проф. О.Б. Сиротининой «Положительные и негативные следствия двадцатилетней “свободы” русской речи»** отмечались изменения в русской речи последних десятилетий, которые не могли не сказаться ни на общем состоянии русской речи, ни даже на самой системе языка. К положительным следствиям О.Б. Сиротинина отнесла быстрое заполнение терминологических лакун русского языка, что существенно обогатило лексическую систему русского языка. В СМИ положительными следствиями стали: возвращение официальной устной речи; возможность выражать разные мнения; отказ от советского официоза. Но по-прежнему стандартна, невыразительна речь высших государственных чиновников, большую тревогу вызывает речь в неофициальной сфере общения. Среди негативных следствий было установлено исчезновение высокого стиля речи, огрубление речи, ее жаргонизация, проникновение элементов неофициального общения в речь с телеэкрана. Наблюдаются факты обеднения языка. В докладе говорилось о важных факторах, вызывающих негативные следствия, таких, как снижение качества школьного образования в результате падения престижа учительской профессии, негативное влияние компьютера и Интернета.

В докладе **проф. М.А. Кормилицыной «Некоторые итоги исследования языка современной прессы»** были названы основные процессы, изменившие стилистический облик газетного текста: процессы субъективизации и «полифоничности», интертекстуальности, синтаксической контаминации, тенденции к демократизации и интеллектуализации текстов. Было отмечено, что активность этих процессов обусловлена в основном экстралингвистическими, социальными факторами, а также спецификой основной функции самих средств массовой информации – информативно-воздействующей.

В докладе **проф. А.Л. Шарандина «Состояние современной культуры речи в студенческом восприятии»** были продемонстрированы результаты анкетирования, проведенного в Тамбовском госуниверситете. Например, значимость отношения студентов к речевой культуре нашла отражение в ответе на вопрос о необходимости изучения культуры речи на неязыковых специальностях вузов. Положительно ответили на этот вопрос 73,6%, отрицательно – 11,6%. Как студенты

оценивают перспективы речевой культуры в обществе в ближайшие 5 лет? 19% студентов считают, что уровень речевой культуры будет повышаться; 36% – понижаться; по мнению 27%, он останется на прежнем уровне. Задача лингвистов – сделать все возможное, чтобы сбылись прогнозы на повышение уровня речевой культуры.

На конференции в течение двух дней (24 и 25 сентября) работало 5 секций.

В докладах на **секции 1 «Современная речь в СМИ и Интернете»** были представлены результаты анализа состояния русской речи в интернет-коммуникации, современной прессе, ТВ. В интересном докладе проф. Алтайского университета А.А. Чувакина «Интернет-коммуникация: миниатюра в пространстве вторичных текстов» подчеркивалось, что данный вид коммуникации использует гибкие возможности Интернета, связанные с «обустроенностью» текстового пространства, обеспечивает динамичность, открытость, незавершенность этого пространства при высокой степени его смысловой эллиптизованности и на основе диалогического принципа организации. Эти тексты оказываются значимыми при поиске ответа на вопрос, что происходит с русским языком. В докладах Э.М. Ножкиной, Е.В. Уздинской, А.С. Драпалюк, Е.В. Акуловой, Т.В. Харламовой рассматривались особенности речи на телевидении (например, речь ведущего передачи «Модный приговор»), в «Литературной газете», анализировались некоторые речевые жанры в русской прессе и Интернете (например, жанр объявления о знакомстве), речевая специфика PR-коммуникации. В докладе О.И. Дмитриевой на материале текстов современных СМИ и словарей новых слов были выявлены активные участки неологизации глагольной лексики в современном русском языке.

Самой большой секцией на конференции была **секция 2 «Устное общение»**, что связано с основным направлением научно-исследовательской работы кафедры – изучением живой речи, а также беспокойством общества падением культуры речи в повседневном, особенно молодежном речевом общении. В докладах А.Н. Байкуловой «Семейный этикет», Т.А. Милехиной «Речь одного и того же человека в разные периоды жизни России», С.А. Рисинзон «Этикетная составляющая общения в городском пространстве», А.П. Сдобновой «Особенности лексики городского и сельских школьников», Н.А. Бобарькиной «Ежели вы вежливы», вы не современны», И.В. Кокошкиной «Лишние слова в речи школьников» отмечался общий процесс снижения культуры общения, огрубления и обеднения речи, который наблюдается в неофициальной речи наших современников. В то же время в докладах Е.В. Наумовой «Речь врача в официальной обстановке» и М.И. Барсуковой «Речевой этикет современного врача» приводились примеры хорошей речи врачей, понимания многими из них, что речевой этикет и вежливость способствуют успешному осуществлению про-



фессиональных целей. Большой интерес вызвали доклады В.Е. Гольдина и О.Ю. Крючковой об особенностях современной диалектной речи. В докладе М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой «Ситуация очереди в современном городском пространстве – «ушедшая натура»?» подчеркивалось, что эта ситуация показательна как отражение стереотипов массового обыденного сознания. И теперь время от времени возникают ситуации, провоцирующие появление очереди, в таких случаях коммуникативные и речевые стереотипы очереди вновь появляются, обнаруживая свою устойчивость и способность к воспроизводимости.

В докладе Е.П. Захаровой анализировалась коммуникативная категория тональности как одна из важнейших характеристик коммуникативной нормы, подчеркивалась ее особая роль в современном речевом общении. Основное внимание докладчик уделил различным случаям тональной рассогласованности, приводящей к коммуникативным неудачам.

Доклады в **секции 3 «Художественная речь»** были посвящены различным аспектам изучения художественной речи. В докладах З.С. Санджи-Гаряевой, С.Б. Козинца, К.М. Зайнетдиновой, О.В. Мякшевой и др. были представлены результаты анализа функционирования этикетных средств, конструкций чужой речи, метафорических моделей, разговорных элементов в классической и современной прозе и поэзии.

На конференции работали **секция 4 «Речь в разных сферах общения»** и **секция 5 «Из практики изучения разных видов и разных компонентов коммуникации»**, на которых были заслушаны доклады, посвященные исследованиям современного состояния речи в деловом, юридическом, религиозном, политическом и рекламном дискурсах (доклады З.Л. Новоженовой, О.А. Прохвятиловой, Г.С. Куликовой, В.В. Девяткиной, Т.В. Дубровской, О.В. Никитиной), а также обсуждались

вопросы, связанные с анализом отдельных аспектов некоторых видов коммуникации (доклады Н.А. Илюхиной, Л.Г. Хижняк, Н.А. Лудильщиковой, О.Н. Дубровской).

На **заключительном пленарном заседании** с дискуссионными докладами выступили В.В. Деметьев, К.Ф. Седов и А.П. Романенко. Авторы высказали свою точку зрения на актуальные проблемы теории речевых жанров, дискурсивно-жанровую модель коммуникативного пространства, культурную специфику современной языковой ситуации. В докладах проф. С.В. Андреевой и Л.В. Балашовой были предложены результаты систематизации единиц устной речи и особенности речи носителей современного сленга.

Итак, проведенная конференция показала реальное состояние современной русской речи и выявила ее особенности в разных сферах общения и у представителей разных профессий и социальных групп. Она обозначила тенденции его изменения, определила факторы, обуславившие недостаточный уровень культуры русской речи, и наметила его следствия в системе языка. Участники конференции познакомились с различными приемами улучшения речевой культуры.

Очень полезным оказалось как знакомство с методикой работы по повышению речевой культуры, так и выявление особенностей речевой культуры на тех участках общения, которые раньше не изучались.

Результаты работы конференции и опубликованные доклады имеют немаловажное значение для улучшения преподавания русского языка и культуры речи в вузах и школах, культуры речи журналистов, юристов, действительности законодательных текстов и т.д.

Участники конференции отметили ее полезность и несомненную актуальность, поскольку в условиях современной жизни России необходимо продолжение борьбы за повышение уровня культуры речи.

М.А. Кормилицына

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРЕВОД: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В КОНТЕКСТЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

25–26 сентября 2008 г. на базе кафедры английского языка и межкультурной коммуникации Саратовского государственного университета состоялась научно-практическая конференция «Перевод: теория и практика в контексте вузовского образования». Конференция была приурочена к десятилетнему юбилею реализации в СГУ дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной квалификации». В конференции приняли участие преподаватели высших учебных заведений Саратова (Саратовского государственного университета, Саратовской государственной консерватории, Саратовского государственного аграрного университета), Пензы и Уральска (Казахстан).

Работа конференции началась с торжественного награждения победителей VIII конкурса молодых переводчиков «Sensum de Sensu», проходившего весной 2008 года в Санкт-Петербурге. Почетный гость конференции, председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза переводчиков России, кандидат технических наук Павел Семёнович Брук вручил победителям дипломы и памятные призы. Преподаватель кафедры английского языка и межкультурной коммуникации СГУ К.В. Кашникова заняла 1-е место в номинации «Перевод с русского на английский язык», сотрудница Педагогического института СГУ Е.А. Летягина – 2-е место в номинации «Немецкий язык», а преподаватель кафе-



дры английского языка и межкультурной коммуникации Д.Н. Целовальникова получила приз «Надежда» в номинации «Технический перевод». Другие участники конкурса из Саратова получили дипломы участников. Успех победителей, несомненно, послужит стимулом для молодых преподавателей перевода, переводчиков и студентов к участию в конкурсе.

На конференции заслушали и обсудили более 30 докладов. Тематика конференции охватила широкий круг вопросов: теоретические и практические аспекты подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации, лингвистические и культурологические проблемы перевода художественных текстов, взаимодействие подходов, методик и технологий при преподавании иностранных языков и перевода, особенности перевода специальных текстов. Авторы докладов представили результаты своей исследовательской работы в сфере перевода с английского, немецкого, испанского и классических языков.

Особое внимание было уделено проведению практических семинаров. Руководителем семинара по специфике перевода специальных текстов был председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза переводчиков России, кандидат технических наук Павел Семёнович Брук. В работе семинара приняли участие более 100 человек: преподаватели вузов, переводчики-практики, студенты университета. Проблемам перевода художественных текстов был посвящен семинар доктора философских наук, доцента кафедры зарубежной литературы и журналистики Вадима Юрьевича Михайлина «Мифологизация оригинала в процессе художественного перевода».

Участники отметили актуальность тематики и обсужденных вопросов, а также эффективность и результативность семинаров и выразили надежду, что конференции в подобном формате будут проводиться и в будущем. По результатам конференции будет опубликован сборник трудов, где будут опубликованы представленные доклады.

Н.И. Иголкина

ЯЗЫК – СОЗНАНИЕ – КУЛЬТУРА – СОЦИУМ

Международная научная конференция, посвященная памяти проф. И.Н. Горелова

6–8 октября 2008 г. в Институте филологии и журналистики СГУ прошла Международная научная конференция, посвященная памяти проф. И.Н. Горелова «ЯЗЫК – СОЗНАНИЕ – КУЛЬТУРА – СОЦИУМ». Организаторами конференции стали Институт филологии и журналистики СГУ и Институт языкознания Российской академии наук. В рамках конференции прошли заседания пяти секций, на которых рассматривались такие вопросы современного языкознания, как онтогенетические аспекты языка и мышления, проблемы языкового сознания и образа мира, соотношение вербального и невербального в коммуникативной деятельности, взаимосвязь языка, сознания, культуры и социума: «Языковое сознание и образ мира», «Теоретические и прикладные аспекты фоносемантических исследований», «Вербальное и невербальное в коммуникативной деятельности», «Различные аспекты исследования языка и мышления», «Лингвистические проблемы межкультурной коммуникации».

В конференции приняли участие ученые, преподаватели студенты и аспиранты многих городов России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Саратов,

Астрахань, Пермь, Казань и др.), а также зарубежные исследователи из Украины и Белоруссии.

На пленарном заседании К.Ф. Седов рассказал о творческой и научной жизни И.Н. Горелова. Докладчик отметил, что энергия книг и статей И.Н. Горелова – «это энергия преодоления, энергия нетривиального мышления, в котором красота парадокса обычно сочеталась с железной логикой аргументации». В докладе И.А. Тарасовой «Коммуникативная личность Ильи Наумовича Горелова» акцент был смещен в сторону лингвоперсонологии. Автор обратила внимание на одну из важных черт научного подхода И.Н. Горелова – наличие диалоговой стратегии «в организации текстов различных жанров и стилей – постоянная ориентация на другое сознание, стремление к диалогу в разных его видах». В русле подобной «энергии» и подобной стратегии проходили и секционные заседания.

Участники конференции могли ознакомиться с только что вышедшим сборником докладов и сообщений «ЯЗЫК – СОЗНАНИЕ – КУЛЬТУРА – СОЦИУМ» (Саратов: Издательский центр «Наука», 2008).

Е.В. Старостина, Т.В. Бердникова



дры английского языка и межкультурной коммуникации Д.Н. Целовальникова получила приз «Надежда» в номинации «Технический перевод». Другие участники конкурса из Саратова получили дипломы участников. Успех победителей, несомненно, послужит стимулом для молодых преподавателей перевода, переводчиков и студентов к участию в конкурсе.

На конференции заслушали и обсудили более 30 докладов. Тематика конференции охватила широкий круг вопросов: теоретические и практические аспекты подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации, лингвистические и культурологические проблемы перевода художественных текстов, взаимодействие подходов, методик и технологий при преподавании иностранных языков и перевода, особенности перевода специальных текстов. Авторы докладов представили результаты своей исследовательской работы в сфере перевода с английского, немецкого, испанского и классических языков.

Особое внимание было уделено проведению практических семинаров. Руководителем семинара по специфике перевода специальных текстов был председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза переводчиков России, кандидат технических наук Павел Семёнович Брук. В работе семинара приняли участие более 100 человек: преподаватели вузов, переводчики-практики, студенты университета. Проблемам перевода художественных текстов был посвящен семинар доктора философских наук, доцента кафедры зарубежной литературы и журналистики Вадима Юрьевича Михайлина «Мифологизация оригинала в процессе художественного перевода».

Участники отметили актуальность тематики и обсужденных вопросов, а также эффективность и результативность семинаров и выразили надежду, что конференции в подобном формате будут проводиться и в будущем. По результатам конференции будет опубликован сборник трудов, где будут опубликованы представленные доклады.

Н.И. Иголкина

ЯЗЫК – СОЗНАНИЕ – КУЛЬТУРА – СОЦИУМ

Международная научная конференция, посвященная памяти проф. И.Н. Горелова

6–8 октября 2008 г. в Институте филологии и журналистики СГУ прошла Международная научная конференция, посвященная памяти проф. И.Н. Горелова «ЯЗЫК – СОЗНАНИЕ – КУЛЬТУРА – СОЦИУМ». Организаторами конференции стали Институт филологии и журналистики СГУ и Институт языкознания Российской академии наук. В рамках конференции прошли заседания пяти секций, на которых рассматривались такие вопросы современного языкознания, как онтогенетические аспекты языка и мышления, проблемы языкового сознания и образа мира, соотношение вербального и невербального в коммуникативной деятельности, взаимосвязь языка, сознания, культуры и социума: «Языковое сознание и образ мира», «Теоретические и прикладные аспекты фоносемантических исследований», «Вербальное и невербальное в коммуникативной деятельности», «Различные аспекты исследования языка и мышления», «Лингвистические проблемы межкультурной коммуникации».

В конференции приняли участие ученые, преподаватели студенты и аспиранты многих городов России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Саратов,

Астрахань, Пермь, Казань и др.), а также зарубежные исследователи из Украины и Белоруссии.

На пленарном заседании К.Ф. Седов рассказал о творческой и научной жизни И.Н. Горелова. Докладчик отметил, что энергия книг и статей И.Н. Горелова – «это энергия преодоления, энергия нетривиального мышления, в котором красота парадокса обычно сочеталась с железной логикой аргументации». В докладе И.А. Тарасовой «Коммуникативная личность Ильи Наумовича Горелова» акцент был смещен в сторону лингвоперсонологии. Автор обратила внимание на одну из важных черт научного подхода И.Н. Горелова – наличие диалоговой стратегии «в организации текстов различных жанров и стилей – постоянная ориентация на другое сознание, стремление к диалогу в разных его видах». В русле подобной «энергии» и подобной стратегии проходили и секционные заседания.

Участники конференции могли ознакомиться с только что вышедшим сборником докладов и сообщений «ЯЗЫК – СОЗНАНИЕ – КУЛЬТУРА – СОЦИУМ» (Саратов: Издательский центр «Наука», 2008).

Е.В. Старостина, Т.В. Бердникова



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АВАНГАРД В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

9–11 октября 2008 г. в Саратове прошла Международная научная конференция «Литературно-художественный авангард в социокультурном пространстве российской провинции: история и современность». Ее организатором выступил Институт филологии и журналистики СГУ при поддержке СГХМ им. А.Н. Радищева и Государственного музея К.А. Федина. Целью конференции являлась консолидация научных сил литературоведов, лингвистов, искусствоведов для осмысления феномена литературно-художественного авангарда и его роли в культурной жизни Саратова в диахронном и синхронном аспектах.

В конференции приняли участие исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Саратова, Тамбова; стендовые доклады представили литературоведы из Германии, Польши, Израиля.

Концепция проекта предполагала комплексное изучение литературного и художественного авангарда в целях выявления типологических черт.

В день открытия конференции гости смогли познакомиться с выставкой «Русский авангард в фондах Зональной научной библиотеки СГУ им. В.А. Артисевич», подготовленной отделом редких книг и рукописей.

На пленарном заседании конференции были прослушаны доклады заведующего отделом русского искусства Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева Е.И. Водоноса «Авангардное движение в Саратове первых революционных лет»; исследователя из Новосибирска И.Е. Лощилова «Антон Сорокин: скандал в провинции»; профессора РГПУ А.А. Кобринского «Чужие жанры» в прозе Д. Хармса»; профессора МГУ О.А. Лекманова «Об одном стихотворении Н. Олейникова».

В первый день конференции работали две секции: «Литературный авангард 1910–1920 гг. в культурном поле эпохи» и «Язык авангарда: код и интерпретация».

В докладе Е.Г. Елиной «Левый фронт и новая журналистика» был проанализирован характер дискуссии о «новой журналистике», развернувшейся в 1920-е гг. По мнению докладчика, дискуссия во многом определялась левовцами и литераторами, близкими к ЛЕФ. Левовцы призывали создавать новую журналистику как журналистику «желтого» толка, не видя в этом ничего предосудительного, считая, что «желтизна» означает лишь обязательную, по их мнению, привлекательность газетной полосы для читателя.

Острую полемику вызвал доклад редактора журнала «Вопросы литературы» М.И. Свердлова «Есенин и футуризм», в котором исследовались сложные отноше-

ния притяжения/отталкивания С.А. Есенина и русского авангарда.

Доклады наших гостей из Нижнего Новгорода – Л.Ю. Большухина, М.А. Александровой, Н.Г. Юрасовой – были посвящены поэтике В. Маяковского. В докладе И.Ю. Иванюшиной «Людогусь из породы Безумных волков» была выдвинута гипотеза, согласно которой одним из претекстов поэмы Н. Заболоцкого «Безумный волк» послужила поэма В. Маяковского «Пятый Интернационал». Темой доклада С.В. Кековой «Перевернутый мир» Николая Заболоцкого: духовно-эстетический аспект» стало раннее творчество Николая Заболоцкого с точки зрения соотношения образа мира поэта с основными понятиями христианской культуры.

Доклад Е.Г. Трубецковой «Случайность как смысло- и структурообразующий принцип поэтики романов К. Вагинова» был посвящен анализу поэтики случайности в романах К. Вагинова на уровне сюжета, форм повествования, вещного мира произведений.

Соотношение интуитивного и рационального в процессе создания и восприятия футуристического текста было представлено в докладах Т.В. Казариной и И.А. Тарасовой. Определенным противовесом тезису о футуристическом тексте как «заповеднике бессознательного», озвученному профессором Самарского государственного университета Т.В. Казариной, послужил доклад аспиранта кафедры русской литературы XX века СГУ Ю.Р. Попоновой «Слово в поисках идеи», посвященный характеру соотношения в художественном слове В.В. Маяковского футуристического периода поэтической и идеологической сторон.

В докладе А.П. Романенко «Поэтическая теория языка В. Хлебникова в аспекте теории культуры» рассматривалась теория языка Хлебникова в ее отношении к авангарду и советской культуре.

В докладе Л.В. Червяковой «Хлебников – Платонов – Хайдеггер: путь к языку» был предпринят анализ творческих методов В. Хлебникова, А. Платонова, М. Хайдеггера. Автор выявил моменты сближений на уровне теоретических высказываний мыслителей о природе слова и на уровне словоупотреблений, реализующих их представления о мире.

В докладе Т.И. Дроновой «Искусство примитива в романе А. Платонова «Чевенгур» был предложен анализ функций экфрастических описаний произведений наивных художников, а также стилизаций в духе романтико-идиллического примитива и лубка в структуре романа А. Платонова «Чевенгур». По мнению исследователя, формы обращения к искусству примитива



свидетельствуют о сознательной «игре» с традицией, о причастности А. Платонова авангардной линии диалога с наивным искусством.

Второй день конференции проходил в стенах Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева. Здесь работала секция «Провинциальный текст российского авангарда».

В докладе А.В. Зюзина (Саратов, СГУ) «Саратовские вечера-беседы и поэзо-концерты» на материале саратовских газет характеризовались события художественной жизни провинции 1910-х гг., в частности, поэзо-концерты и поэтические вечера Д. Бурюка, И. Северянина, Ф. Сологуба.

В докладе А.В. Раевой (Саратов, СГУ) утверждалось, что авангардная поэзия 1920-х гг. в Саратове находилась под огромным влиянием художественной системы М. Зенкевича, поэтизовавшего в саратовский период творчества авиатора и его гибельный полет. Образ пилота-поэта оказался ведущим в художественной системе писателей, причисляющих себя к левым течениям.

Малоизвестные факты жизни и творческой биографии художника Н.И. Симона были собраны и прокомментированы научным сотрудником СГХМ им. А.Н. Радищева Е.К. Савельевой в докладе «Художник Николай Симон: факты и предположения».

Прозвучали также доклады о литературной и художественной жизни провинции в 1910–1920 гг., саратовском конструктивизме, авангардных тенденциях в музыке. В результате такого многоаспектного рассмотрения авангард предстал как стилистическое единство, определившее лицо эпохи.

По окончании заседания участники конференции имели возможность осмотреть специально подготовленную экспозицию «Традиция и авангард в залах Радищевского музея».

После обеда гостей встречал Саратовский государственный музей К. Федина. Хранитель фондов музея Л.Ю. Коновалова познакомила гостей с выставкой «Авангард через призму подлинника» (по материалам из фондовой коллекции музея). Второй день работы конференции завершился поэтическим вечером С. Кековой «Ангел, слово и число».

Итоговый этап конференции был посвящен авангардным направлениям в культуре современного города и предусматривал не только научные дискуссии, но и арт-акции.

Пришедших в дом-музей Павла Кузнецова ожидали выставки современных художников, презентации проектов, общение с авторами экспонирующихся работ. «Хозяин» дома, первый директор музея Павла Кузнецова – И.В. Сорокин – поделился своими размышлениями о современном музейном арте. Нижегородский художник и график Е. Стрелков подготовил медийную инсталляцию «Вокал кефали», а также дайджест других аудио-визуальных проектов. М. Лежень, участник легендарного объединения саратовских художников «Желтая гора», и А. Максимов-Павлычев познакомили со своими работами из серии «Книга художника». На выставке А.Д. Трубецкого «Малевич-транзит» были продемонстрированы коллажи, выполненные в технике акрил по фотографии, органично вписывающие героев Казимира Малевича в современный мир.

Перформативная часть программы была представлена акцией А.Д. Трубецкого «Ной не ной, а ковчег строить надо», направленной на привлечение внимания общественности к проблеме восстановления здания для картинной галереи Павла Кузнецова.

Завершилась конференция работой секции «Эхо авангардного взрыва», проходившей в зале Нижне-Волжской студии кинохроники. Участники конференции обсудили вопросы авангардных практик в современной поэзии, театре, кино. Прозвучали доклады Е.В. Бороды (Тамбовский государственный университет) «Тамбов, Академия Зауми. День сегодняшний»; Е.А. Ивановой (Саратовский государственный университет) «Футуризм и актуальная поэзия»; А.Н. Зорина (Саратовский государственный университет) «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина в версии театра АТХ: гиперремарка в постмодернистской интерпретации классики»; Т.В. Зориной (Саратов, Нижне-Волжская студия кинохроники) «Эхо авангардного кино в программах фестиваля «Саратовские страдания». Завершилась конференция просмотром фильмов «Девять забытых песен» Г. Краснобаевой и «1937» Н. Мартиросян, отмеченных современными формальными экспериментами.

Конференция стала значительным событием не только в научной, но и в культурной жизни города. Она оставила ощущение праздника, сотворенного совместными усилиями организаторов и участников проекта, ученых, музейных и библиотечных работников, музыкантов, художников и зрителей.

И.А. Тарасова



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Авдевинна Ольга Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Педагогического института Саратовского государственного университета. E-mail: rosauzb@mail.ru

Байкулова Алла Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и речевой коммуникации Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета. E-mail: Philology@sgu.ru

Гольдин Валентин Евсеевич – доктор филологических наук, профессор кафедры теории, истории языка и прикладной лингвистики Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета. E-mail: goldinve@yandex.ru

Гусакова Ольга Яковлевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры начального языкового и литературного образования Педагогического института Саратовского государственного университета. E-mail: Philology@sgu.ru

Демченко Адольф Андреевич – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русской литературы и методики ее преподавания, зам. директора по научной работе Педагогического института Саратовского государственного университета. E-mail: adema4@yandex.ru

Елина Елена Генриховна – доктор филологических наук, профессор кафедры теории литературы и журналистики Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета, проректор Саратовского государственного университета по учебно-методической работе. E-mail: Philology@sgu.ru

Иванюшина Ирина Юрьевна – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русской литературы XX века, зам. директора по научной работе Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета. E-mail: Philology@sgu.ru

Кабанова Дарья Сергеевна – докторант университета Иллинойса, Урбана-Шампейн, США. E-mail: dkabano2@uiuc.edu

Клюков Василий Тихонович – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой романской филологии Института

филологии и журналистики Саратовского государственного университета. E-mail: kvassil@mail.ru

Козинец Сергей Борисович – кандидат филологических наук, доцент кафедры начального языкового и литературного образования Педагогического института Саратовского государственного университета. E-mail: kozinec74@mail.ru

Панченко Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории коммуникации, риторики и русского языка филологического факультета ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет». E-mail: panchenko@list.ru

Петрушина Анна Александровна – ассистент кафедры английского языка и межкультурной коммуникации, аспирантка кафедры зарубежной литературы и журналистики Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета. E-mail: seecow@mail.ru

Прозоров Валерий Владимирович – доктор филологических наук, профессор, директор Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета. E-mail: Philology@sgu.ru

Соколова Екатерина Дмитриевна – ассистент кафедры английской филологии, аспирантка кафедры русского языка и теории коммуникации Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета. E-mail: sokolovaed@yandex.ru

Староверова Елена Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы и журналистики Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета. E-mail: Philology@sgu.ru

Чувакин Алексей Андреевич – доктор филологических наук, профессор кафедры теории коммуникации, риторики и русского языка филологического факультета ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет». E-mail: chuvakin@inbox.ru

Шур Анна Михайловна – ассистент кафедры английской филологии, аспирантка кафедры педагогики факультета философии и психологии Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета. E-mail: Philology@sgu.ru



Подписка на 2009 год

Индекс издания по каталогу ОАО Агентства «Роспечать» 36011,
раздел 15 «История. Филология».
Журнал выходит 4 раза в год.

Подписка оформляется по заявочным письмам
непосредственно в редакции журнала.

Заявки направлять по адресу:

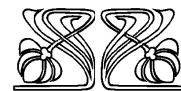
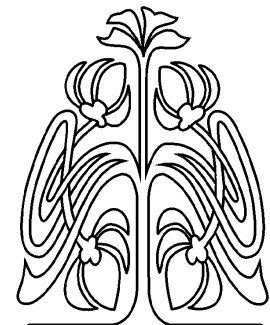
410012, Саратов, Астраханская, 83.

Редакция журнала «Известия Саратовского университета».

Тел. (845-2) 52-26-85, 52-50-04; факс (845-2) 27-85-29;

e-mail: izdat@sgu.ru

Каталожная цена одного выпуска 275 руб.



ПРИЛОЖЕНИЯ

